

На едином дыхании

О повести А. Скалона «Живые деньги»

Повесть ли это?

Это скорее рассказ, и рассказ большой силы. Автор, когда закончил его, наверное, почувствовал эту силу, литую тяжесть и, подумав, написал — «повесть». Ну повесть так повесть.

Ещё потому «повесть», что этого, например, хватило бы на целый художественный фильм, но только если бы он был поставлен по тому обязательному закону, по какому это произведение написано, по закону «единого дыхания». Начни тут режиссёр специально «выявлять характер» и «ставить акценты» — вещь умрёт. То есть станет больше одной лентой про бяку-браконьера, и только.

Впрочем, написать «на едином дыхании» ничего нельзя, тем более повесть. Надо возвращаться, переделывать, двигаться дальше — то легче, то труднее... Но вот повесть есть, и прочитывается залпом. И кажется, что она так и писалась — с разгона, а наверное же, нет. То есть, думаю, что здесь — мастерство, а не чудо.

Чем же «берёт» повесть А. Скалона?

Она хорошо выстроена, хорошо написана и правдива. Автор словно бы начал собирать повесть по мелочам. Подробно-подробно рассказано, как покупаются собаки, какие собаки, какого возраста, с каким характером... Попутно — про собак вообще: «Кобельки против сук запаздывают на полгода-год в своём развитии». Я, грешным делом, подумал: «Опять про козу Ивановну!» Про собак, про волков, про коров, про коней. Соблазн большой, а умеет редко кто. Догадка насторожила, однако читать не расхотелось. Дальше — больше, включил на кухне малый свет, пролистал повесть до конца — сколько он здесь наворочал, удастся ли соснуть до работы?

Повесть втянула в себя и уже не выпустила. А ведь не детектив, не страшная история... Мужик настрелял соболей, а две собаки остались в тайге. И вот тут-то, когда всё прочитано до конца, понимаешь, зачем автор так подробно описывал собачек на первых страницах. Он их, если так можно сказать, «очеловечивал».

Жили себе собаки среди людей, одна собиралась оцениться. Но вот хищная умелая рука человека же вовлекла их в кровожадную азартную охоту, пробудились занеженные древние инстинкты, откуда взялись сноровка, страсть, злость, сила. Сколько-то дней жизни, полной риска, трудов, отваги, самозабвения, — и конец: человек сделал своё дело и предал их. Дальше им — смерть, которая настигнет их в образе такого же четвероногого, но чей род не переставал кормиться охотой и убийством. Вот где сказалось пристрастие автора к подробности, к детали — всё это вдруг привело к большой горькой мысли: да за что же?! Да что уж такого драгоценного можно купить за эти проклятые деньги, которые он, человек, получит за соболей? А сколько жизней загублено! И как подло!

И тут невольно поворачиваешься к тому, кто «не самый худой человек на сибирских просторах, хоть, разумеется, далеко и не лучший», к герою повести, к Арканю.

Появляется желание вдуматься в его судьбу и в назначение его в этой жизни. Арканя неглуп, опытен, выносив, идёт на риск (такие удачливы!), и это должно вызывать к нему сочувствие и почти вызывает... но лишь до того момента, пока он не предал собак. Дальше — при всём своём опыте — он безобразен, мерзок.

Это очень строгий суд над человеком. И как точно автор ведёт к тому, что за человеком встаёт чёрная тень его чёрного дела.

Можно легко увидеть — и это тоже заслуга автора, — как Арканя сидит в кабине вертолёта, посматривает вниз и немножко жалеет собак. Сведены воедино, в один круг, разум человеческий, его необозримые возможности на земле (ружьё, вертолёт) и доверчивость собаки, её привязанность к человеку... Круг распался — и вышла одна голая жестокость, немилосердность. Зачем же он тогда выдумывает и выдумывает всё новые машины, зачем ему такие, почти неограниченные возможно-

сти, если он всего-то навсего жесток! Нет, это не вообще о человеке, и не последняя это заключительная мысль, но это тоже есть в человеке, и что же, это приветствовать, что ли? Этому и следует удивляться и ненавидеть. Не злой же увидел в другом злое, а добрый. Иначе бы и повести не было. Такой, по крайней мере.

Я думаю, если бы не возник в повести дед Аркани, такой фартовый прохиндей, как и внук, и не наладилась бы, таким образом, этакая наследственность у Аркани, всё было бы в повести не менее убедительным, а может быть, более. Дед, мне кажется, от литературы, от заданности. Этот дед ещё лишний раз, наверно, продиктовал слово «повесть». Всё же это рассказ — большой, умный, мастерски написанный. Он так сцеплен внутри себя, что всякое отступление в сторону «повести» вроде «С деда началась охота», не воспринимается как обязательное, хотя оно тоже интересно.

Ещё два слова о построении повести. По закону «единого дыхания» она сделана или не по закону («жмёт» меня в этом определении какая-то броскость, красивость), но что она строилась ещё по закону совести, это так.

Не могу ещё не порадоваться умелости автора в том, как он пишет. Вот Арканя проснулся после тяжкой выпивки, больной («с годами стал болеть на похмелье»). Пошёл проведать купленную вчера собаку. «Собака показалась сильно маленькой. Брюхо у неё было заметно отвисшее. Даже сильно отвисшее». Два раза «сильно» — раз за разом — это как-то качает короткие три фразы и бьёт в одно место, как бьёт колесо, смещённое с центра; так тупо — толчками — болит похмельная голова, человека покачивает, а мысль возвращается и возвращается к чему-то случайному, нелепому. И этому же — ощущению похмелья — помогает такая вроде небрежность, несуразность: «сильно маленькая». И уточнение: «...заметно отвисшее. Даже сильно отвисшее». Видно, как человек медленно ворочает головой, разглядывает собаку и медленно, с трудом соображает. А всего-то три короткие фразы!

А вот из народных запасов подмечено, услышано, стало как вкопанное. Про деньги речь: «Не понесёт же их такой солидный, самостоятельный мужик — с таким-то брюхом! — под зеркало! На месте расстреляет!»

А вот сравнение. О бесхозном богатстве тайги. «Любой бродяга — с договором, без договора — приходи, черпай до дна. Как Мамай». Здесь и богатство, и горькая мысль, что богатство это можно безнаказанно грабить. И грабят. Одно слово вырвалось — и толкнуло чуждостью, вероломством. И как это страшно! Как понятно!

Это всё — живой язык. Такими неуловимыми подсказками, где работает интонация, отдалённый намёк, автор освободил себя от прямого морализирования, этого «пережитка прошлого». И остался граждански ясным до конца.

Вольное повествование, живой умный язык, некрикливая сама эта история — всё обратилось цельностью.

Живёт тайга, живёт и действует, а порой преступно действует в ней человек. Композиция рассказа и есть сама эта жизнь, несколько дней, и только дед — от институтских учений, он ослабляет напряжение. Но всё равно напряжение в повести большое. Она как пружина в руках: держишь и чувствуешь её скрученную энергию, отпусти — больно ударит. И бьёт-то в самое сердце, в самую нежную мякоть его. С таким расчётом и сделана.

В Шунгулешский промхоз Арканя приезжал уже не в первый раз. Он быстро оформил договор, получил небольшой аванс и десять банок говяжьей тушёнки в счёт пушнины, смотался в соседнюю экспедицию, где всегда можно было застать вертолёт, договорился с лётчиком на пятнадцатое, через три дня, число и вечером уже сидел у своего старого знакомого Пикалова за столом.

Летчик в экспедиции попался какой-то новый. Фиксатый, прыщавый, тоненький, в шелковом шарфике, папироску жуёт. Арканя подвалил к нему будто спросить про Дормидонтова — летает ли, дескать, старик. Но вертолётчик Арканю правильно понял; молодой-то молодой, а ухом не поворачивайся, откусит. Да это и спокойнее, потому что если человек на деньги падкий, то он и дело сделает. Прилетит. Договорились: сотню сразу и сотню или пару соболей, — это видно будет, — за обратный конец.

Арканя привык жить удачливо, фартово, и Пикалов слушал его не без зависти, удивлялся и радовался за своего оборотистого друга. Арканя же поучительно цедил сквозь зубы:

— Это вы здесь сидите и сопли на кулак мотаете!

Шунгулеш — село действительно тёмное, отсталое. Здешние жители измеряли трудности не деньгами, а по старинке: лошадьми, которых можно перекалечить, перетопить в болотах; лодочными моторами, которые можно переломать на перекатах, мелях и порогах; временем, которое потребно на заходы и выходы, особенно на заходы — с продуктами-то.

Арканя человек другой, его аршин — деньги. Никаких лодок, никаких лошадей. Кому надо уродоваться без пользы? В любом районе, где действует вертолётная служба, Арканя без хлопот попадал на место. Механика не сложная, да не всякий понимает. Вертолёт — не попутка на шоссе, трояк не сунешь. Вроде бы. А если не трояк? Так ведь на большую сумму рука у деревенского не поднимается, он конями лучше пойдёт.

Гуляли эти дни с Пикаловым отменно, на водку у Аркани было, но и дело он не забывал, а между прочим толковал со знакомыми охотниками про намеченные места. Он не говорил прямо, что собирается на Нерку, на Предел, в самые дальние и недоступные тайги, в верховья Шунгулеша, а наводил на эти места разговоры будто невзначай, вскользь, пока не выяснил, что, кроме него, туда никто не собирается. Там уже годá никто не бывал. Кто в молодости хаживал, кто слышал только, кто летом, по большой воде, на рыбалке был. Чтобы досконально знать эти далекие таёжные места — таких не оказалось людей. Говорили разное, вроде бы и есть там зимовья, а вроде бы и нет. Будто из Красногвардейского района заходили туда охотники, и даже строились. Но точно было, что давным-давно охотились там легендарные уже братья Балашовы, а в последние времена стояли геологи в бараке.

Что зверь в тех местах есть — в этом никто не сомневался. Зверь там есть. Ждёт смелого человека.

Было у Аркани ещё более важное дело, чем собирание сведений, — собаки! Отсутствие собак коренным образом отличало сезонного охотника Арканю Алферьева от истинных и настоящих охотников. У Пикалова, и у того бегала по двору собачка охотничьего вида. Хоть он и на лесопилке работает, а всё-таки в субботу-воскресенье да на отпуск отбегает в ближние места соболей погонять.

Но и тут Аркане повезло: совсем кстати случилось со знакомым Пикалову пачечником несчастье — обезножел разом матёрый охотник и на сезон остаётся дома.

Завели пикаловский мотор и поехали в Фёдоровку на пасеку.

Пасечник сидел в сарае и колотил улейки. По нему видать было, что уже не охотник этот здоровенный и молодой ещё мужик. В сарае пахло чистым деревом, мёдом от висевших по стенам рамок. Тут же в стружке лежала и собака — Дымка, низкорослая лайка лет шести, с белым ухом, серая, с провислой спиной и мягкими ногами.

Дымка вышла, когда в столярку ввалились пахшие вином и безобразием гости.

Арканя поставил вино на верстак, бутылки сыто стукнулись друг о дружку.

Пикалов сходил, вызвал из дому хозяйку, она стала греть на таганке под навесом похлёбку, принесла в рассоле огурцов и чеснока с салом.

Хозяин смотрел настороженно, не зная, зачем пожаловали гости, а когда они сказали, что приехали за собакой, раздумался:

— Продать? Почему не продать. Нынче не пойду в тайгу-то.

— За деньгами не постоим, — сказал Арканя.

— В тайгу нынче не пойду, — не обращая внимания на тороватость Аркани, продолжал пасечник. — Но ведь и то сказать — собака вроде хорошая. Достойная. Так что приходится, хозяйева, сорок рублей просить. И то всё равно что даром отдавать. Вот что получается, дело-то какое. Поеду в город лечиться. Деньги нужны.

— Возьми сорок, — сказал Арканя, подтолкнув коленкой Пикалова под верстаком, чтобы тот не начал торговаться и не портил бы картину. Любил Арканя, по-городски легко относившийся к деньгам, озадачить медленно зарабатывающего и медленно тратящего деньги деревенского человека. Лихость эта Аркане обходилась недорого. Вот и теперь — в лучшем случае пятёрку можно было выторговать, не больше. Цена и без того оказывалась бросовая, сотню Арканя приготовил на собаку! Своих он не держал с тех пор, как переехал из собственного дома в квартиру (ванна, газ, огород от комбината ежегодно нарезали под картошку), так что заранее готов был платить за собаку сколько спросят. Дымка эта самая бывала в тайге, вернулась оттуда живая, — значит, понимает в охоте. Отщипнул Арканя четыре красненькие, портмоне — в карман, деньги — на верстак.

— Вот только сукотная она. Потому и прошу мало, — медленно продолжал пасечник, не обращая внимания на деньги. — Будь она пустая, например, меньше чем за восемьдесят не отдал бы.

— О, паря, чё делатца! — сказал Пикалов.

Замолк и Арканя, прикидывая. Сукотная, оказывается, Дымка...

— И с брюхом работать будет, она старательная. Оценится, день-два полежит, не шевели её. Потом опять начнёт ловить. Это уж такая собака, я тебе доложу. Она как человек, за кусок уж она отблагодарит.

Выбора не было, совсем никаких собак в это время по Шунгулешу не найдёшь. Арканя тряхнул кудрями, подвинул пасечнику деньги и в знак согласия разбросил на троих вторую бутылку.

— Покупать с лёгким сердцем надо. Это правильно, — сказал Пикалов, беря стакан.

Пасечник закурил, а пачку «Беломора» положил на деньги.

— Куда собираисся?

— Да вот на Нерку наметился. Не знаю, что будет. Есть там соболя, нет ли. — Слова Арканя растягивал по-здешнему. У него была такая привычка, подстраиваться под разговор, рассуждение, интонацию. Он ценил это умение в себе и других как признак ловкого и сильного человека, который берёт своё вежливо и обходительно, а не прёт грубо, как бульдозер.

— В раскольническое зимовье, — кашлянув, подсказал Пикалов.

— Говорят, есть на Фартовом ручье избушка. Не знаю, худая, не знаю, целая ещё?

— Хорошо на Нерке, — вздохнул пасечник. — Бывал. Надо на геологический барак рассчитывать. Ночевал я в нём.

— Слышал я про этот барак. Да не сильно верю, казёнку строят. Вот если балашовские избушки целы...

— Сгнить уж должны. Я-то в них когда ещё зимовал, парнем был молодым. Тебе надо на геологический барак держать. Всё же там партия стояла. Орлов еще зимовал у них, когда они хозяйство оставляли там. А балашовским избушкам — им сто лет в субботу. Разговоры от них одни остались.

— Ты мне вот лучше скажи, — повернул разговор Арканя. — Если от Предела, от хребта, значит, взять нашу сторону, то Фартовый — это будет направо, так? А который левый — это будет Малый Верблюды, а за ним Большой Верблюды? Так или нет?

— Если от Предела? — пасечник задумался. — Нет, не так. Значит, направо будет Большой Верблюды, потом Малый Верблюды. А Фартовый упадёт налево. Вот как получается. Верблюды пойдут направо, а Фартовый — налево.

— Ну как же так? — удивился Арканя, хорошо знавший карту и начавший всю эту географию, чтобы поближе подвести пасечника к разговору.

— Да уж так! И перетакивать тебе не приходится, если я там с Колей Макандиным зиму зимовал.

— Дак ты не обижайся, а давай разберёмся.

— Об чём речь, я без обиды.

— Он без обиды, Арканя, ты это не смотри. Вот по стакашу мы сейчас придумаем, и все пути нам откроются. Сквозь пойдём!

— Значит, налево будет Фартовый, направо — Верблюды пойдут?

— Кто прав?

— Обои правы, — засмеялся Арканя, — ты же против меня сидишь. Это у тебя какая рука? Левая?

— Левая.

— А у меня — правая.

— Во, паря, мужики! Во, деревня бестолковая! — засмеялся пасечник.

Засмеялся и Арканя. Пикалов суетливо заглядывал то одному в глаза, то другому, весело ему было с хорошим разговором.

— В общем, значит, не держать особую надежду на балашовские избушки? Твой такой совет?

— Да ведь что я тебе скажу. Сколько лет я там не был! Пойти-то бы пошёл — помню хорошо. А сказать — что скажу? Вот Ухалов, Петр Панфилович, тот везде бывал, и там был. Вот с кем поговорить! Только он тебе тайгу не откроет, камень. Заготавливали они прошлый год там северного оленя. Пятнадцать голов с Мишей Ельменовым забили и вывезли. Вот тебе и дело с концами. А что остальным охотникам ни одной лицензии не досталось — это их не касается. И моё — моё, и твоё — моё! Понял? На вертолёте залетали. Промхоз платил. На вертолёте — не на ногах, куда хочешь можно залететь, хоть к черту на рога.

— Обыкновенно, средство транспорта. В других промхозах вертолёты небось нанимают, бригады забрасывать. — Арканя засмеялся.

— Средствие, говоришь? Для Ухалова средствие, а для меня, значит, не средствие? Я от этого без ног оставайся? Справедливо получается?

— Про справедливость я молчу. Каждому свой интерес. Кто успел, тот и съел, как говорится. Я квартиру получал. Мне следующий дом дожидаться надо, а голова на что? Председатель профкома комбинатский у меня на кухне неделю бюллетенил. Баба только мелькала в магазин. Поддавали. Ящик водки и ящик портвейного — квартира моя. Надо по современности соображать. Ухалову вертолёт, лицензии, а вам фиг с маслом! Так они, наверно, и план кинули промхозу, и мясом по губам помазали в домашнем обиходе. Всем и хорошо.

— Чёрт с ним, с Ухаловым. Жизнь у него так в деньги и ушла, у Петра-то у Ухалова.

— Зря ты на него говоришь. Сумел человек — сразу завидовать. Деньги у него, конечно, есть, — возразил Пикалов, уважавший богатых людей. — Но и большого ума мужик, не отыметь. Большого. Он и в промхозе умеет — на хорошем счету, передовик, и в газетке про него писали, фотографию помещали.

— Вот именно, — подчеркнул Арканя. — Вот то-то и оно.

— Эва! — согласился пасечник. — Так-то если смотреть — оно все правильно. А уж только ни я, ни ты, да никакой самостоятельный охотник в соседи к нему не согласится идти. Так?

— Значит, было раньше на Фартовом, а теперь нет, — вернулся Арканя к интересовавшей его теме.

— Всё там было. Там, может, скит был! — Пикалов даже обернулся, сказав про скит, будто опасаясь подслуха. — В общем, поселение у них там целое было.

— Раньше ведь большими сёлами в тайге не жили, — сказал пасечник. — Большие сёла были трактовые, на больших пашнях да на приисках, где промышленность развивалась. А глубинку осваивали заимками, починками. Три семьи живут, у них и пашни на три семьи, и сена — на своих коров, они и перебиваются с пасеки на скот, со скота на охоту. Тайга, она — мать, если с умом брать! Орехи те же, ягоды.

— Это так тоже нельзя рассуждать, — упёрся Пикалов, — кого же тогда в колхозы организовывать? Пока Петька до Ваньки добежит, распоряжение принесёт! А электричество? По всей тайге линии гнать прикажешь? И пользы от них государству никакой, сидят, самогонку варят! А тут, допустим, ЛЭП для них ведут! Понимать надо, линия-то! Я работал, знаю...

— Долдон ты, Пикалов, долдон! Столбов, видишь ли, пожалел, линий! А откуда обозы в город шли по зимникам? А пушнина? С малых поселений, ответчу тебе! Это же ресурс для снабжения строек и промышленности!

— Частью ты прав, а частью опять же нет, — мотнул Пикалов головой. — Ресурс, это и мы понимать можем, в тайге сена на десяток коров любая полянка даст, это ладно. Но ведь ты продавать хочешь, за что же тебе тогда пенсия, если у тебя личная собственность?

— Это кто же личная собственность? Своими руками если? А! Пенсия! Дети были у каждого заместо твоей пенсии, понял? Да с тобой, с дураком, чего спорить!

— Спорить и не надо, одно другому не мешает, — вмешался Арканя. — Можно бы и пенсию, и детей, и пасеку, и колхоз, и технику. Тайгу осваивать надо. Мне вот, например, это до фонаря. Я приехал, взял что хотел, — и Арканей звали. Но общую пользу я понимаю — осваивать надо. Тут одно к одному получается. Летом — пашня, скот, сено, ягоды; зимой — охота. Осенью твоя баба корову продаст, поросёнка. А если пять продаст? Это сколько денег в семью?

— Что ему доказывать. Вот Балашовых взять, правда, они здоровые были, как лоси, за ними не всякий утянется. Но в чём дело всё — в том, что тайга твоя, и

без тебя в неё никто не пойдёт, не нарушит. Занимались они как раз этой тайгой на Нерке. На Фартовом у них базовое зимовье было. Далеко, туда никто не ходил, а им спокойнее. Обстроились, и в такие концы — всё пешками! Идут, посвистывают. Плашник¹ у них был хороший. Избушки-ночёвки, в каждой продукты заготовлены. Они не таскали на спине, заранее завозили. Котомочка маленькая у него. Пришёл — всё готово. Обсушился, пушнину обработал, поел, на лыжи — и дальше. На Фартовом и на Нерке стояли у них базовые зимовья. На Верблюдах, между прочим, кругá тоже были налажены. — Пасечник чертил толстым ногтем по иссеченной и изрезанной доске верстака. — Они и за Предел ходили. И там, говорят, тоже кругá имели. Во сколь тайги обрабатывали. Из наших мужиков тоже сильные охотники были, но за этими лосями не утягивались. Походили-походили по балашовским местам и отстали, уж сильно далеко. Ведь вот соболя в те поры кончили в тайге, а Балашovy приносили. И воровского заведения не было, чтобы куда-нибудь налево пускать. В Центросоюз, в Заготконтору, всегда сдавали государству. А теперь и люди специальные появились — скупать стали. Испортился народ. Контора тебе сколько даёт? А скупщик?.. Вот то и оно. Да сразу на лапу, чистыми! Государству урон получается, скупщики барыши между собой делят, а охотник поёживатца — сёдни не посодят, завтра заберут. И куда денется — рад бы сдать, дак ведь против живых денег не поплывёшь!

— И правильно, — сказал Арканя, глаза у него блеснули. — Если соболь деньги стоит, ты и бери за деньги. Скупщику выгодно сотню платить, а почему конторе невыгодно?

— Ну, кабы контора под скупщика цену подняла, тот бы сразу усох, как муха на морозе. Кому хочется жить на воровском положении, в честном доме оно теплее.

В столярку снова пришла Дымка, стала в дверях, поставив лапки на порог. Арканя на правах хозяина подозвал её, она подошла, но под руку не далась и легла в углу.

— Плюнешь в морду, если плохо ловить будет, — сказал пасечник. — Вот сам не могу, а то бы не продал! — Покачиваясь на табуретке, пасечник стал рассказывать, как хорошо он охотился с Дымкой, какая она вязкая, как хорошо идёт и держит; рассказывал, как он молодым ещё ходил далеко, и за Предел, и на Нерку, в поисках хорошей тайги, чтобы сорвать большую взятку; рассказывал, как простуживался и болел. Теперь ноги отниматься стали, пухнут, но иногда он понемногу ходит. Что-то с сосудами. Врач не велел пить, но особенно — курить. С одним таким же, как он, приходилось ему лежать в больнице. Ни курить, ни пить тому нельзя. А он и пьёт, и курит. Курево в больницу жена носила. Плачет, дура-баба, а носит.

— Не принеси она, дак... — отозвалась со двора проходившая мимо столярки жена пасечника, незаметно приглядывавшая за мужиками, неосторожно курившими на стружках, и, не договорив, махнула безнадёжно рукой и ушла в дом.

— Да, носит дура-баба. Ноги отрезали по щиколотку — не кури! Отрезали ему пальцы на руках — всё это у него отнимается, закупоривает кровяные сосуды. Отрезали, значит, пальцы, а он своё: неси, жена, «Беломор», и непременно фабрики Урицкого. Двумя кульями папиросу берёт и курит. Так и умер с папиросой. Под конец врач говорит: теперь пусть курит!

— Теперь пусть курит! — эхом повторил Пикалов и радостно мотнул головой. — Во мужик!

¹Плашка — ловушка. Плашник — цепь ловушек на тропе охотника.

— Молодец, — презрительно сказал Арканя.

Пасечник замолчал, повесив большую кудлатую голову на грудь, — в волосах и в бороде с сединой перепутались мелкие стружки, — потом вскинул голову и стал смотреть долгим внимательным взглядом на лампочку, засиженную мухами, глаза у него наполнились слезами.

— Отходил, — зарыдал грубым голосом, — отходили мои ноженьки-и!

— Вот те раз, хозяин! Да ты чё? — засуетился и тоже сморщился Пикалов. — Ты чё, хозяин!

— Ревишь, а я бы имел пасеку налаженную! — утешал Арканя. — Я бы разве килограмм сдал сверх плана? За твою зарплату? Ни в жизнь! Всё в город — по пятерке! Хочешь не хочешь, покупать будут! Благодарить будут, слышишь, ну?

— Спичку не зароните. Шли бы в избу, — говорила жена пасечника, стоя в дверях и глядя на плачущего мужа.

Замахиваясь на кого-то невидимого, ворочая безногим туловищем, пасечник повёз рукавом по верстаку и уронил стакан. Арканя тоже махал руками, и Пикалов тоже начал махать. Они смутно пришли к общему согласию, и каждый считал, что именно он прав и все с ним согласились в чём-то важном. Арканя объяснял жене пасечника:

— В город бы вас, на комбинат. С магазина попитаться. Надо уметь вертеться! Учи вас, долбаков деревенских! Отделение-е! Слушай мою команду!

Стакан мягко подпрыгивал в стружке, катался под ногами...

Дымка упиралась, когда её на веревке-удавке затаскивали в лодку. Арканя тянул, Пикалов толкал сапогом сзади. Потом они плыли вниз по Шунгулешу, Пикалов всё пытался завести мотор, но у него не получалось. Плыть вниз можно было и без мотора. Шунгулеш — быстрая река. В лодке они запели песни. Дымка смотрела назад, пока её везли в лодке, нарыскивалась прыгнуть за борт. Подплывали к селу, и Дымка стала смотреть вперед, навстречу доносившемуся по воде чужому собачьему лаю. Пикалов простуженно напевал:

*Посмотрите, как пляшу,
Я бродни с напуском ношу!*

Арканя смутно прорастал воспоминаниями в дальние годы детства: когда подпивали его дед и бабка, у которых он воспитывался, то на пару пели частушки и песни, и вот эту, про бродни с напуском, тоже, а он, маленький, в красной рубашонке, плясал босой посреди избы. Он пытался подпевать и теперь, но слова плохо помнились, забыл их, а помнил «Ландыши-камыши» и «Ладушку».

Лес в темноте осенней светился по берегам, светились в основном берёзы и осины, редкие, вперёд других скисшие лиственницы. Ещё не сильно было темно, а так, сумеречно.

2

Утром Арканя проснулся тяжело, — с годами стал болеть на похмелье, — пошёл проверить собаку, которую привязали ночью в стайке. Вчера она укусила кого-то, то ли его, Арканю, то ли Пикалова, — Арканя вспомнить не мог, — но укусила. Собака показалась сильно маленькой. Брюхо у неё было заметно отвисшее. Даже сильно отвисшее. На промысле оценится. Арканя принёс ей варёной

картошки и половину хлебного кирпича. Дымка не ела и от нового хозяина отворачивалась. Лапки, ошибочно показавшиеся Аркане при первом взгляде разношенными, были хорошими комочками, только женски длинноват был следок. Вполне хорошие лапки.

— Собачку мы с тобой зряшную сосватали, — сказал Арканя не то, что думал.

— А ты чего хотел перед промыслом?

— Да я так просто. С пузом ишо. Дам сапогом, высыпятся!

— Не-е, это нельзя. Она совсем тогда не сгодится.

Они опохмелились с Пикаловым и решили, что надо искать ещё одну собачку, для страховки. Какую ни на есть. Бывает, возьмётся за соболя и вообще какая-никакая дрянь. Всю жизнь под воротами пролежит, а потом раз и на тебе! — пошла соболей ловить. Таких историй они рассказывали друг другу несколько и, убедившись в своей правоте, пошли думать со знакомыми мужиками в деревню.

Арканя был действительно озабочен второй собачкой и поэтому к разговорам относился серьёзно, пил поменьше и соображал, как бы обмануть какого раззяву-охотничка да купить у него принародно за хорошие деньги собаку. Это случилось в Арканиной биографии. Это, говоря прямо, был его коронный номер. Выпьет охотник — море по колено, тут его и начинай вертеть. Особенно ловко выходило, если вдвоём, если напарник подпевает. Опомниться не успеет охотник — деньги у него в кармане, собачка в чужих руках. Всё при свидетелях, никакого мошенства. И чем больше уплачено, тем дело честнее. Плачет иной наутро, — а чего ты, воруна, вчера куражился?

— Дворового купи? — в шутку предлагали мужики, но Арканя не обижался.

Вечером в каких-то гостях, — уже по избам гулянка пошла, потребсоюзковский шофёр предложил Аркане своего дворового кобелька, дескать, есть надежда, что в нём талант проявится, потому что одним боком кобельёк произошёл от известной в недалёком прошлом по Шунгулешу сучки Альмы. Сам хозяин его не пробовал, а держал во дворе.

Кобельёк толковый, понятливый, правда, во все драки завсегда лезет, и посейчас у него лоб распластан, отец у Верного (так звали кобелька) был драчун известный, шеленковский лабазный кобель, Верный и характером пал в отца, — но мать его, Альма, сука добрая была. Её брали на медведей, на сохатых, соболей она тоже хорошо находила. На морде у сохатого Альма и погибла.

Шофёр на охоту не ходил из-за лени и огромного брюха, он и за столом-то сидел боком, и руль брюхом приваливал, когда закуривал в машине на ходу.

Арканя про себя потихоньку соображал, что вот если купить кобелька подешевле, как бы по пьяному делу, то он немного потеряет. Деньги, оставшиеся от продуктов, он всё равно пропьёт — тридцать рублей, не брать же их с собой в тайгу, для вертолёта деньги под плексигласом лежат неприкосновенно. Чего ж ещё. Всё собака. Не хрен с маслом. Деньгам один конец. Вот если он их сейчас отдаст шоферу, то деньги эти, при умном поведении, всё-таки будут совместно пропиты. Не понесёт же их такой солидный, самостоятельный мужик — с таким-то брюхом! — под зеркало! На месте расстреляет! (Но в таком рассуждении Арканя дал просчёт, потому что в этой деревне пропивали мужики от десятки вниз, а от десятки вверх клали под зеркало.)

Кобель был рыжий, крупный, мясистый (мясо не картина, в первые дни сойдёт), не сказать, чтобы дурного сложения, локотки разве сильно разведены да хвост дворняжий, повисает между ног, но глаза у него были умные, воровские,

челюсть бульдожья, а грудина широкая. По глазам судя, непростой кобелёк, хоть особых надежд на него возлагать не приходилось.

— Ты чё, тятя, пьяной? — удивленно спрашивала девочка шофёра, когда отец вытаскивал на улицу — в дом Арканю с Пикаловым не приглашал — за цепь упировавшегося кобеля. Присутствующие посмеивались. Верному надели на шею веревку (цепь Аркане была не нужна, хотя хорошая, самокованная), привязали к заплоту. Девочка поняла, что Верного продали, заплакала, стала просить отца. Вышла хозяйка, пристыдила мужа, что из-под цепи собаку продал, а шофёр, тоже смехом будто бы, отдал ей тридцатку, но не шутя, а совсем отдал, со словами: «Бери-ка, Алевтина, Верный у нас поросёнком отелился!»

Пришлось посмеяться и идти от чужих ворот не солоно хлебавши. Девочка шофёрская плакала, убивалась, бежала следом, целовала Верного в морду. Аркане стало жаль девочку, сказал, что ничего, Верному хорошо будет: «Мы с ним в лес пойдём, соболей ловить будем!»

— Соболей, — усмехнулся Пикалов, которому было жаль пропавших из общего дела денег, — в самолучшем случае рагу из него получится. На нём мяса, как на телке!

Лет Верному было около трёх-четырёх, шофёр и его жена разошлись во мнении по этому поводу. Он говорил, что сначала стайку построили новую для коровы и телка, потом Верный появился, а она, призывая в свидетели отсутствующих своих родителей, припоминая, сколько она слёз пролила, пока заставила мужа делать новую стайку, доказывала, что Верный появился за год до этого счастливого события. Стайка, выходящая задом на перекопаный огород, была видна. Хорошая, тёплая, с сенником, срублена она была из старой бани с добавкой новых хороших бревён на нижние венцы. А три-четыре года для кобелька — это такое время, когда изменения ещё могут произойти, может, и толк в нём окажется. Кобельки против сук запаздывают на полгода — год в своём развитии.

3

Поблескивала на дне леса Нерка — приток Шунгулеша, — отражая случайно пробившиеся сквозь таёжную темень солнечные лучи, поблескивали кое-где болотинки, озерки. Арканя сверху жадно схватывал, запоминал тайгу, широко открывавшуюся ему: там гарь, поворот река делает, там болото, там россыпи, вот он, почти рядом, голец...

До Фартового не долетели, покружили где-то над ним и вернулись на гарь, километра в пяти, очень густо было для посадки — кедрач, ельник, плотная сильная старая тайга с буреломом и валежником. На гари трава, пышно разросшаяся за лето, сжалась, спеклась, укутала колодины, полегла, причёсанная и зализанная ливнями. В ямках стояла вода и зеркально вспыхивала. Арканя махнул летчику: «Давай тут». Всё равно, подумал он, перетащусь, если найду жильё на Фартовом, а если не найду, если погнили и погорели зимовья, здесь и балаган сочиню, на краешке гари.

Чувствовалось сверху пространство свободной, незанятой тайги. Сколько её пустует из года в год! Кто здесь последний охотился? А освоенная тайга тесней год от года, и площадь её сокращается. Ближние удобные тайги дорожают, из-за них и охотники ссорятся, их и рубят в первую очередь, их и переопромышляют.

Трещат доступные тайги от охотников! А здесь — во! И всё оттого, что как будто всем всё равно. Не моё, даже не наше! Всё, что встретил, — моё, сегодня возьму всё, что смогу взять, а то завтра другой возьмёт. Любой бродяга — с договором, без договора — приходи, черпай до дна. Как Мамай. Да что бродяга, бич, сезонник! Мелочь какая-нибудь бестолковая, туристишка, забредёт и спалит всё дотла. Ничья тайга...

Волновала Арканю тайга, расстилавшаяся внизу бесхозно: хоть вверх по хребтам, хоть вниз по урманам, по перевалам — всё твоё! Успевай, Арканя!

Вертолётчик равнодушно взял приготовленную четвертными сотню.

— Ни пуха ни пера! Так, что ли, у вас говорят?

Завертелся как дух и полетел в своей ступе над тайгой. Вертолётчик сильно рисковал, забрасывая Арканю, а охотник уважал риск во всём: будь он вертолётчиком, тоже не ленился бы, а калым сшибал.

Собаки разбрелись по гари, нюхали, смотрели.

Арканя строил план, как искать зимовье. Сидя на горелой валежине, — теперь уже не важно, чистые, не важно, в саже его штаны, — шарил взглядом по сопкам, свыкаясь с новой этой землёй, с этими, по слухам, сказочно богатыми местами, про которые он давно уже, несколько лет как мечтал и в которые, наконец, забрался, и где он теперь, на этот только сезон, хозяин.

Барахла было два тючка лёгких, — продуктов, раззява, опять недобрал. «Зато нести легче, — подумал Арканя о продуктах. — Ничего! Зверька завалим рогатого, строганину будем есть».

Судя по карте-синьке, идти следовало вниз, за маленький перевальчик, и если там будет ключ, то, значит, Фартовый, а если ключ будет справа, на той стороне Нерки, то, значит, лётчик — долбак, значит, далеко сели, и будут идти один за другим Малый и Большой Верблюды, а выше их — маленький ручей Болонгуй.

Арканя достал из мешка топор и ружьё, которое сразу собрал и зарядил. Ружьё было не очень подходящее, но счастливое, «Зимсон» шестнадцатого калибра, с вынутыми за ненадобностью и экономией эжекторами. Вот с топором он сплеховал, и сейчас уже об этом пожалел — башка у топорика болтается. Пьянствовал, а надо было о топорике позаботиться. Когда-нибудь застынет как пёс, и всё из-за беспечной лени, халатности и излишней смелости — «авось не пропаду».

Пока что действительно не пропадал. А возможно, и будут гнить в тайге его косточки, мышки обточат, дождинки обмоют, травка прорастёт, никто не найдёт. На вертолёте — не на спине, взять надо было у Пикалова большой топор, у него их вон сколько. Хоть бы тот, который в сарае лежал, в дровах. Если сломается эта тонковатая ручка, то куковать ему да куковать.

Захватив с собой немного продуктов, Арканя сделал, как решил: одолел перевальчик, спустился и внизу увидел ключ слева, как и положено было по карте и по предположениям, а самое главное, по чутью, на которое Арканя единственно и в жизни, и в тайге полагался. Значит, Фартовый.

По ключу Арканя и повернул вверх, сделав, от греха, затёс на том месте, где надо было поворачивать на гать, к вещам. Хотелось Аркане найти старые зимовья, хоть они и погнили, разумеется, но он был не против и не сильно развалившегося барака, хоть его и не натопишься. В таком бараке всегда пила найдётся списанная, топоры брошенные. А если раскольничье зимовье искать, то смотреть надо в отнорочках, пазушках, в щёлочках каких-нибудь, в распадочках боковых, неожиданных, они свои зимовья прятали.

Набрел Арканя на старый затёс, заплывший на широком боку кедра, — значит направление у него правильное, и пошёл веселее. Потом второй затёс — совсем правильно: тропы ближе к зимовью стягиваются со всей тайги в пучок, в фокус. Кто-то не из больших охотников орудовал здесь, если затёсы такие ему были нужны частые. Не иначе — геологи. Настоящий охотник для мальчика или для женщины затёсы делать будет тоже. Геологи, вернее всего, те ходят тропы — тешут.

Внизу идти было сильно мокро. Вода сочилась по всему дну распадка, и там, где виднелась старая тропа, было мокро совсем — значит, это только зимняя тропа, и выше по склону должна оказаться тропа сухая, летняя. Чтобы не путаться и время не проводить, Арканя шел всё низом, низом. Бродился он в рабочих казённых башмаках, взятых для зимовья на сменку, у него в запасе были белой резины японские сапоги — «ботфорты», на которые теперь пошла мода: ходят в них в тайгу хоть зимой, хоть летом, махнув рукой на ревматизм. А для зимы у него была ценная вещь — полудомашние ичиги. Сделал ему их один случайный старичок. Им уже третий сезон, только промокать начали подшитыми стельками. Хорошей кожи не нашёл, пришлось фабричную ставить, и осоюзил фабричной кожей (а то бы горя горького не знал про резиновые сапоги).

Нынче сибирские охотники домашнего производства ичиги давно уже не делают, поразучились. Сначала поступали фабричные, потом и фабричные кончились. Кто же будет делать уродливые право-левые, лево-правые ичиги за девятнадцать рублей? Да и не нужны такие никому. Кожа не та. И бродни плохие. Кожу делают для городской носки, другим способом, чем раньше в деревне, химия другая, вот и промокают. А собрать бы старичков, кто помнит, научить молодых, артель организовать. Десять стариков десять деревень обули бы таёжной обувью. Перешли на резинки!.. Ревматизм от них только. Старики вот перемерут, как с броднями тогда быть?

Зимовье Арканя просто почувствовал. Остановился и почувствовал. Вот если бы он не был слесарь-золотые руки на химкомбинате, а был бы штатный охотник, — конечно, кабы контора по живой цене принимала пушнину, — то тут бы, на Фартовом, и была его тайга, именно здесь бы он поставил свою главную базу. На излучине этой. Сделал бы переход через ручей. Пробил бы круги плашника, кругов пять-шесть по сотне ловушек. Тут как раз похоже на лужок, коню сена накосить летом. Епифанов-балагур говорит: «Одному коню горстям нарву». Зачем «горстям», литовочку бы занёс. Для зимовья место удобное, сухое, и вода рядом. Кедрач кругом отличный, не молодой, не старый, самый колотун, шишки на нём висят, как гранаты-лимонки. Баню бы поставил! Не чета местным долбакам, сладости не понимают, по сезону не моются. Да у них и стимула нет, при обезличке угодий, — построишь, а участок как раз и передадут Федьке. Будет он париться да смеяться: спасибо, мол, друг, хорошая баня!..

Зимовье тут и стояло. Тропки к зимовью, то есть к геологическому бараку, конечно, через чашу стекались, заросшие. Пять на пять — гараж! Труба буровая на фундаменте. В трубу сена пищухи натаскали, им, пищухам, всё равно. Упавшая лесина, криво зарубленная, жжённая с этого же боку: смола накопилась, а дурачок какой-то поджигал, баловался; упала от бури, зацепила, сдвинула крышу. Щепка побурела уже. Стёкла же остались целы, и только двери не было. Внутри сырость, и в нескольких местах стены белели плесенью, зияли щелями. Печка совсем прогоревшая, но был очаг и выходное отверстие в стене — «хлебальник» — для дыма. Очаг был большой. Жёг тут сторож Орлов целые лесины, не ленился таскать.

«Вот только кто-то дверь снёс. И кто это насвинячил?!» — с обидой думал Арканя, радуясь в то же время, что не надо строить балаган, что не придётся дрогнуть ночами на морозе, не придётся сезон вертеться по-собачьи клубочком под тентом, который он на всякий случай приволок. Дворец! Дверь сделать — полдня делов, вон нары на десятерых, половину разобрать на дверь, гвозди вынуть. Петли от сожжённой каким-то проходимцем-туристом двери Арканя нашёл в костерике, они были словно из музея, истлевшие, но в дело годились.

Арканя натаскал сушняка, разжёл его на очаге, набил им печку полняком и на четвереньках выполз из-под дыма на улицу — дым валил из всех щелей. Пусть сохнет, а он побежал за мешками.

Дымка встретила на дороге. Потом за кустами мелькнул и Верный. Они пришли к Аркане на службу. Другого человека, получше, они не нашли, сколько ни искали.

Мешки Арканя потащил сразу оба, чтобы зараз отпотеть, устроиться и вступить во владение. Где-то недалеко вроде бы взлаяла собака. Аркане было тяжело, отдыхал он через каждый километр и думал при этом: на кого же лают собачки?

Лес был разноцветный, прохладный по-осеннему и по-осеннему солнечный. В заводях ручья было набито листьев и хвои. Плавилась маленькие ленки, гонявшие в ручье харьюзков. Рябчики встречались и на том пути, и на обратном тоже встретились. Прошумел где-то глухарь. Хлоп-хлоп крыльями, хлоп-хлоп. Было два следа изюбровых на мокрой тропе, по болоту виден был след сохатого. Но это всё, конечно, не занимало Арканю, беспокоил его собачий лай.

Верный тоже через время голос подал, толстый голос, грубый, отрывистый. Хоть голос хороший, и то ладно, на такой километра за четыре зимой идти можно. Дымка лаяла залиvisto, страдательно.

В барак Арканя притащился затемно, ноги после городского безделья дрожали, пиджак промок по всей спине. С темнотой наступил сильный холод, от травы встал пар. В бараке пахло грибами, было сыро ещё, и ночевать в нём Арканя не решился, стал ладить костёр. Устроив ночлег и навалив дров в очаг, чтобы и ночью барак сушился, Арканя попил чаю у костра, покурил хорошо, да так и заснул от усталости первого дня сидя. Время от времени он просыпался, взбадривал костёр, смотрел на малознакомых собак, на индевеющую под луной тайгу и снова засыпал, кутаясь в курмушку и в железный брезент.

Много таких Арканей дремало сейчас у костёрчиков на просторах остекленевшей тайги Саян, Бурятии, Якутии, Эвенкии, Иркутской, Хабаровской областей, Красноярского края. Остывало, простуживалось, дышало дымом чужих зимовий. Все эти сезонники-любители имеют общую черту — удивительную приспособляемость, способность переносить наравне с четвероногими все трудности таёжного доисторического быта, способность мёрзнуть и голодать, способность бежать весь день и не помереть, лежать под снегом сутки, способность слышать и видеть как зверь, и обмануть зверя, как человек. Они плохо оснащены сравнительно с профессиональными штатными охотниками (хотя штатные тоже наполовину неотличимы от любителя), не имеют своей, за долгие годы оборудованной тайги (у настоящих профессионалов тайга оборудована и превращена почти в цех, в огород) и уж, разумеется, не имеют никаких гарантий. Оттого и пушнина идёт на лево, и происходят с ней всяческие чудеса. Говорят, и есть тому свидетели, что на хабаровской барахолке, в воскресенье, среди белого зимнего дня, нормальный мужик продавал шкурку зайца-беляка за десять рублей! И, говорят, шкурку эту купи-

ли на шапку. Казённая цена беляка — рубль. Только хабаровчане утверждают, что неправда, что продавали этого злосчастливого белячонку на иркутской барахолке.

Скоро, скоро закипит тайга...

Арканя не самый худой человек на сибирских просторах, хоть, разумеется, далеко и не лучший. И у него имеется надёжное местечко, куда он пушнину понесёт. А рублей на триста-четыреста, для отвода глаз, сдаст в контору промхоза: надо выпить-закусить, надо оставить после себя квитанции. Сдаст всю белку да несколько соболишек — вот неудача, всего и добыл для вас, товарищи!

4

Солнце вставало не по-городскому, медленно.

Арканя дрожал спросонья от сырого, мозглого холода. Быстро раскопегарил костёр, размялся, пробежав по стеклянной траве за водой, с ледяными плёночками принёс котелок, протянул руки к огню и удивительно быстро и радостно очнулся, огляделся и повеселел.

Повставали и собаки, смотрели, ждали харчёвку. За спиной зияла тёплая дыра барака, свистели синицы на кедре над головой, на вершинах деревьев на восточном склоне Фартового ручья, о котором Арканя мечтал на перекурах и пересменках за домино, лежала, прожигая и плавя под собою землю, большая — больше сопки — половинка солнца.

Арканя перекусил, покормил хлебом собак и взялся ладить дверь, отвалив доски от нар. Барак он опять затопил, пол побрызгал, подмёл. Траву, пролежавшую на нарах неизвестно сколько лет, вытащил и сжёг вместе с нашедшимися тут гнилыми портянками и дырявыми носками. Под травой оказались журналы и газеты, он отложил их до лучших времён. У родника нашёл вкопанную косо — в склон трубу, из которой бежала вода особого вкуса. Воду эту Арканя, полагая, что она полезная, и стал пить.

В обед он прорубил в новой двери пазы для шипов-поперечин, и осталось только насадить дверь, когда раздался недалеко совсем звонкий, с заливавшимися на высоких нотах визгливыми концами голос Дымки. Сердце у Аркани заходило, как рыба на крючке.

Дымка лаяла на белку, конечно, а не на соболя. Верный ходил вокруг дурачком, время от времени взлаивал, смотрел на дело со стороны. Арканя, похваливая собаку, выстрелил. Верный, чему Арканя очень обрадовался, не испугался выстрела, а, наоборот, озлобился и кинулся к медленно падавшей сквозь ветви белке. Он даже закусить её хотел, но Дымка взвизгнула и ударила его по загривку верхними клыками. Верный отпрянул, не заворчал, присел и, как показалось Аркане, сразу всё понял в охоте. В повадке Дымки видна была собака характерная. Быстро обрезав лапки, сдёрнув с белки носочек шкурки, — краснохвостка, отметил про себя, выходная, — разрубил на валежине тёплую тушку ножом, кинул задок Дымке, передок Верному. Цепной пес схамал на лету, а Дымка для приличия подержала в зубах, вывалила в траву, отошла.

Дымка была охотничьей собакой, и белок ей всегда варили, из уважения.

— Фу-ты ну-ты! — засмеялся Арканя, — гордая, значит? Нау-у-чим!

Зимовье Арканя оборудовал прекрасно. Он даже законопатил щели мохом, вспоминая при этом, как за таким же занятием — за собиранием моха — одного

из братьев Игнатьевых задавил медведь, пока старший брат отлучался на минутку. Старший брат подскочил и стрелил медведя наповал, но было поздно. Стол Арканя вымыл, выскреб, размёл от порога дорожку шагов на пять, вырубил корытце собачкам из колодины, чтобы пища дольше не замерзала. В журнале нашлась репродукция — женщина, белая, полная, даже розовая, будто распаренная, сидит в газовом платочке, а возле неё негритенок стоит на коленях. Женщину щепочками к стене над столом приспособил и поглядывал.

Вечером было уже три белочки, добытых между делом около зимовья. Все три были выкунявшими — готовыми, а это Арканя считал признаком близкого снега.

Теперь сидел он, наслаждаясь тишиной тёплого вечера, последних тёплых деньков, планировал, в какую сторону идти-подаваться, откуда начать блицтурнир. Решил Арканя быстро, стремительно взять всё, что можно, и встретить снег полным мешком пушнины. Вспоминался комбинат, жена, Колька, главный инженер цеха, от которого он ушёл, как колобок. Последние дни Арканя работать не лез особенно, жил предпразднично. В третьем цехе случилась авария, трубы разошлись, хлор попёр, Арканя в заваруху не сунулся, сделал вид, что ему переодеться не хочется, а был он в свитере новом, в костюме своем лучшем, синем, — в управление с бумагами ходил.

Конечно, не из-за одежды, поостерегся просто, наглотаешься газа, как в шестьдесят седьмом наглотался, долго ли до греха, попадёшь в больницу — и плакала пушнина. Осень наступила. Значит, увольняться пора. Без содержания месяц никто не даёт, хоть и пишет заявление, на всякий случай показывает — вот, мол, по семейным обстоятельствам. Не пройдёт — сразу из другой руки: прошу уволить по собственному желанию. Заработанные дни он, мудрый человек, уже отгулял.

Иванов взбесился. Конечно, занеглел Арканя, уже при Иванове он свою штуку откальвает третий раз, пользуется нехваткой рабочих высокой квалификации, золотых рук. Так каждую осень у Иванова по куску от сердца отрывает.

Пальцем постучал Иванов по столу:

— Не приходи больше, Алферьев, больше не возьму. Ясно?

Стучи пальчиком, пальчик твой.

— Александр Викторович! Кто вам лучше работает? Может, Минягин? Кто вам вентили подгонял? Пока кто другой додумается — у Алферьева всё готово! Правильно? Обидно, конечно. Я о себе уважаю хорошее мнение как о специалисте.

— Иди, Алферьев. Ты рвач. Летуны и рвачи так рассуждают, а не советские люди. Нужен цеху человек моей специальности до зарезу каждый год и каждый день — значит, то и ворочу, что мне выгодно. Прежде, значит, мои собственные интересы, а потом производственные. Они подождут?

— А как же? Если я о своих интересах не подумаю, так вы за меня будете думать? Смешно вы рассуждаете. Интересы!

— А квартиру получал, ты что на местком говорил? Как каялся?

— Это дело прошлое, я не против...

На том они и кончили базар. Никуда не денутся, возьмут. Не возьмут — на любом производстве с руками оторвут.

Арканя всё понимает прекрасно, мозги ему не надо вправлять, он сам разговорчивый человек. Труба из легированной стали была, они её с Васей Конем на бочки порезали, особо устойчивые бочки получают под соленья, маринады, — стоят, сколько швы держат, а сам материал как новенький. Полста рублей штука. На миллион лет рассчитано, под кислоту идут, штучно делали на каком-то заводе

в Свердловске. Конь договорился с крановщиком, тот и закинул трубу на свалку, в металлолом. Полежала она там, пока её обыскали и новой заменили, а потом подходи, спрашивай — в мусоре нашли, жалко, что ли? Особая сталь? А нам откуда знать, мы не инженерá, видим, лежит, для смеху бочечки поделали, для себя.

Закончил Арканя и ножичек охотничий с наборной ручкой из клееной кожи. Отникелировал, выточил. Игрушка. Охотничьи ножи — Арканина страсть. В этом только году сколько сделал, а сколько всего произвёл их за сознательную жизнь! Он, может, из-за них и слесарем стал. Арканина марка известна — ножи у него бриткие, острйё держат хорошо, гнущие ножи, не ломаются. Строгать хорошо, шкурку снимать хорошо, консервы открывать — пожалуйста. Несколько ножей у него получилось — гвозди рубили. Каждый слесарь делает ножи, не редкость, технология известная: подшипниковая, рессорная сталь, отковать, оформить, закалить, выточить. Ручку можно плексигласовую, кожаную, из берёзовой щётки. А вот один нож получается ломкий, другой мягкий, третий не заточишь, четвёртый на морозе ломается.

Секрета Арканя не выдавал, его ножи были особые. Как-то после драки в снегу возле столовой нож нашли, посмотрели, попробовали — Арканин. Пивоваров — капитан — пришёл, расспрашивал. Вещественное доказательство! Кому давал, за сколько? Цена, фактическая вещь, четвертная, а вот как он в драку попал — это уж вы, товарищ капитан, разбирайтесь. Нож сделал — виноват, больше не буду. Делал дома, не на работе. Остальное не моё дело.

Пивоваров по своему профилю большой мастак. Знает на комбинате ходы-выходы. Его сюда прикрепили, когда растащили электромоторчики. Моторчики снимут, а машина — миллионы стоит — работать не может из-за мелочи такой, тем более, машины-то заграничные. Капитан даже жить наладился на комбинате, но прекратил. Никого, между прочим, не посадил, ни одного человека, а мог бы. Моторчики очень хорошо годились для насосов, огород поливать. Под конец они подешевели, по пятнадцать рублей шли. Ведь как сделал капитан? Готовые насосы с трубами привезли — магазин завалили, приходи, плати сорок пять рублей, включай, радуйся! Капитан проверять грозился, у кого что стоит на огороде. Не надо проверять, ворованное честному всегда уступит, это и так понятно. Ведь от соседей стыдно. От капитана можно в землю зарыть, а от соседей? Совести условия создать — она свое возьмёт!

Ножи чем хороши — ножик подарить можно. Пикалову, например, или какому-нибудь охотнику, охотоведу, даже директору. У любого сердце дрогнет, если на его глазах с гвоздя стружка под лезвием побежит. Вот с топором у Аркани неувязка. Отковал он как-то в кузнице один топор. На поковку смотреть противно, такая она культяпистая, делать её не хотелось, кусок железа, и всё. То ли дело ножичек — лежит на верстаке рыбка, вид у него личный, прогонистый такой, о молодости хулиганской напоминает. Ходил Арканя с таким ножичком за голенищем хромовых сапог. Шарфик вязкий белый, курмушка из нового сатина, стёганная узором кожаная шапка с каракулем, в меру наколотый, в меру приבלатнённый. Срок маленький мотнул, два годика. Как выскочил — ша, семья и свобода ему дороже всего. Арканя научился жизнь понимать, теперь пусть другие которые...

Заготовочку топорную кто-то не поленился, свистнул, унес раззява какой-то. Так уже больше Арканя и не делал топора. У соседа как-то взял один, согнал углы на наждаке, обух спустил — полегче чтобы стал, но бросил всё же на обратном пути в лесу — тяжело показалось. Да кто хороший топор даст? Чаше сам

в зимовьях под нарами шарил, случалось, находил — если пошарить под нарами глубоко, на чердаке, по углам, под печкой; найдётся почти в каждом зимовье или пила, или топор. Пользуйся. Сколько раз бывало. Но однажды чуть насмерть не замёрз. Всё дурная голова ногам покоя не даёт. Не сделал топор, таскается с каким попало. Вплоть до туристских из магазина, людям на смех. Сколько раз с топорича топор соскакивал, в ногу попадал, в снег заваливался — час приходилось с матюгами по снегу голыми руками шарить во тьме кромешной, а костёр тухнет! И теперешним топориком попасть в лиственничный сучок — развалится.

Беда здесь не в том, конечно, что топор себе никак не запасет, не в лени дело, а в том, что жизнь у него половинчатая. Каждый год у него делится на принудительную-работу — комбинат, и на праздник — азартную, как карточная игра, выгодно-доходную и в то же время радостную охоту, в которой и труд, и свобода Арканиного характера сливаются в одно, во что-то третье, среднее между ними. Но охотники зарабатывают два-три месяца в году, остальное время зубы ихние хранятся на полке, или труд их разливается куда-нибудь на погрузку-выгрузку, в истопничество какое-нибудь, известь какую-нибудь жгут, чёрт знает чем занимаются. На комбинате же, с премиями, двести у Аркани твердых, всегда и по гроб жизни. Поневоле пойдешь обратно в цех.

Каждый раз на выходе из тайги Аркане кажется, что последний раз он был на охоте, каждый раз с лёгкостью бросает он тяжелый топор. Случись, изменится положение на комбинате, текучка прекратится — всё, не рискнет Арканя уходить. Так что дело получается не в топоре, а в обстоятельствах жизни, да и стаж прерывистый может плохо сказаться на пенсии, договорная промхозовская бумага — надежда плохая.

Эту ночь Арканя ночевал в зимовье, дверь подогнал хорошо, ручку сделал из сучка. Слушал маленький транзистор, глядел в огонь и мечтал, мечтал... Нюра сейчас, наверное, спит, раскинулась, халат у неё нейлоновый, такого заманчивого цвета — розовый, стёганный. Добрая баба. Девушкой досталась Аркане. Он и бросал её, другими увлекался, но вернулся к ней всё же, такая она вроде бы и безответная, а тянет как магнитом, надежная жена, из колонии ждала, из армии ждала, письма писала. Кольку родила. До самой больницы по дому летала, прямо от печки увезли, два раза охнула — парня родила на четыре кило. Чтобы по пиджакам получку шарить, чтобы упрекнуть когда выпившего?! Знала, что если выпил Арканя, значит, надо было; если денег мало принёс, значит, надо было; если друзей привёл — молча собери на стол, улыбнись, пригуби, в разговоры не свои не мешайся.

Особо красивая Нюра была, когда Кольку родила, — пышная, белая. Кольку кормила — проснётся ночью, глаза закрыты, лампу включит, Кольку приложит к груди и сама опять спит, а малый наестся до отрыжки и тоже спит. Тогда надо Аркане вставать, сцену эту демонтировать. Очень он боялся, что она со сна мальчишку задавит, и доглядывал, тоже просыпался. Кольку в кровать, и Нюру в кровать. Тогда он ещё пол в старой хате не перестилал, и понизу несло холодом, снежинка упадёт у порога и не тает всю ночь. Ноги у Нюры озябнут, бывало.

Вот за эту свою жизнь Арканя мог и в хлор полезть, и в любую другую аварийную обстановку, мог и по хребтам пластаться, замерзнуть и мокнуть, и на пушнине рисковать. Пушниной капитан Пивоваров тоже интересоваться начал, видно, распоряжение такое вышло.

Охота началась.

Больше всех старалась Дымка, она искала с жаром, со страстью, не успевал Арканя выстрелить, а она уже мчалась на поиски, вот уже за сопкой лает, и бежать туда Аркане полчаса бегом.

Семь белок сгоряча добыли, у Аркани глаза помутились, взопрел с отвычки, развёл костёрчик чай пить. Пришёл сразу откуда-то Верный, лёг у костра обессиленный, язык вывалил. Видно было, что в охоте Верный чувствует что-то и своё, но вот как немтырь — сказал бы слово, да язык не шевелится. Мотается Верный за Дымкой, тоже поднимается лапами на ствол дерева, кору скребёт когтями, а толку ещё не понимает. Видит, что спутники азартным делом занимаются, вроде собачьей драки, но не нашёл ещё себе места в работе. Характер у Верного показывается умный, даже хитрый. На хозяйских глазах бегом бежит, даже хвост в полкалача подождёт деловито, — оглянется, мол, стараемся, товарищ инженер, к обеду готово будет! Но лаял без толку. Белка уже ушла на соседнее дерево, а он под прежним сидит и гавкает толсто. Дымка новое убежище показывает беличье, вьётся от нетерпения, готова как кошка на дерево заскочить, а Верный дураком сидит: гав да гав!

Дымка летала по кустам, по валежинам, не подумаешь, что сукотная. Старательная собачка, самоотверженная, нарадоваться невозможно. Такие вот собачки всю охоту и делают, весь план по пушнине, валюту. Бегают по тайге собачки, ищут, зовут охотника.

Дымку Арканя старался кормить, давал ей больше.

В зимовье вернулись таким порядком: сначала пришёл Верный, он уж давно, видно, у зимовья околачивался, набегался, устал и повернул домой раньше всех; потом пришёл Арканя, а Дымка ещё где-то старалась. Но у Аркани уже сил не было идти на голос доброй собачки, только чаю попил, белок сварил — не ела сырых Дымка, упиралась, — да и завалился без задних ног и заснул, как умер. И снилось ему, что лаяла Дымка на соболя, на такого красивого — светился соболёк.

К чему такой сон приснился?

К снегу...

Мелким снежком ночью пробежалась зима по осенним ещё владениям, отволгло небо, помутнело, посерело, разбухло.

Похолодало. Бегать стало ловчее, легче, или сам Арканя подтянулся, усох, согнал воду, укрепил жилы, дыхание прочистил крепким осенним воздухом, выдышал, выплевал комбинатские вредные осадки и стал нестомчивее.

Дня три-четыре не было соболей. Похоже становилось, что Дымка-то бельчатница, и хоть грешить на такую счастливую собачку было бы стыдно, всё-таки крадывалось Аркане в душу сомнение. Капканов у него всего двадцать штук с собой, много ими не наловишь. Ещё и снег нужен для капканов. Может, соболей здесь мало? Тоже снега не было — проверить. Снег выбелил только склоны гольцов, лёг полосой по вершинам хребта. Туда и отправился Арканя, наскучив белочками, проверить соболей.

Случается, что собака привыкает к видимому следу соболя, а на один запах не берёт; такие бывают, что по снегу возьмёт, а по чернотропу белочку предпочтёт облаять. Может, и соболя сейчас повыше держатся, может, им мыша по следу легче искать? Такие соображения погнали Арканю вверх, а чувствовал он себя уже хорошо в ногах, в плечах и в груди и готов был, в случае чего, если есть наверху соболя, ночевать там.

След, мягонький и свеженький, Арканя обнаружил, отойдя от зимовья километра три-четыре. Позвал Дымку, она не шла, потом оказалась наверху, на этом же следу, и на морде у неё была забота. Арканя подозвал её и потыкал всё же носом в след. Дымка конфузилась и отворачивалась, отбежала, встряхнулась и ушла куда-то. А через час подала голос. Голос был уже не по белке, особый. Рядом грубо забухал Верный.

Это был соболь. Славный такой, светленький, маленький, молоденький собольёк. Первый.

По горсти сахару дал собакам Арканя и по сухарю.

Ночевать остался наверху, где уже был зимний холод и льдистый снег-чир. Ночевал Арканя, по своему обыкновению, по дедовской ещё науке, у искори. В затишке нашёл вывороченную кедрину с корнями, торчащими вверх, настелил против корня запаленного лёжку из лапника, натянул за собой простынку-экран, для отражения тепловых лучей. Корень смолевой может всю ночь гореть ровным жарким пламенем. Конечно, много значит удача, хорошо, если корень попадётся подходящий, а другой начнёт тухнуть — снова его надо будет палить, таскать среди ночи сушняк. Но с удачным корнем можно спать почти как в зимовье, особенно осенью.

Зимой, конечно, не разоспишься. Зимой ночь с год.

На радостях Арканя зашиб пару рябчиков и заварил супцу, мочил в супе сухари и давал собакам. За соболя.

Ночью шёл снег, а тент Арканя по легкомыслию натянуть не позаботился и слегка промок и озяб, хоть корень и горел ровно.

С утра его ломало от сырости. Он пошёл опять вдоль хребтика. Дымка искала, а Верный крутился всё время около, хитрый и ленивый, предпочитая халтуру старательной работе. Арканя попинал его, когда пёс подвернулся под ноги. «Не вертись под ногами! Не вертись, паразит!» Но когда далеко залаяла Дымка, — а залаяла она, как показалось по голосу её, на соболя, — Верный, без всяких попуканий, на махах, исчез в чаще и буреломе, оставляя прямой след к Дымке. Это оказалось удобно. По следу Верного Арканя напрямую и прибежал, задыхаясь, с колотьюём в боку. Дымка уже вырыла в корнях целую нору. Соболю сидел в дупле, в корнях, где-то в глубине, и уркал.

Дымка то судорожно скребла когтями землю и взвизгивала от страсти, то замирала, вслушиваясь, высовывалась на божий свет — морда у неё была засыпана землёй, снова кидалась рыть, углубляясь в корни. Излишне азартная оказалась собачка. По норам и щелям опасно закапываться. Арканя с матерком оттащил её за хвост от выкопанной ямы и сунул в нору капканчик, загораживая собою выход. Дымка капкан понимала и опасалась, лезла в нору сбоку, а Верный дураком сунулся, получил капканом по носу, заскулил, стал тереть о лапы ушибленную нюхалку. Арканя снова насторожил капкан и в дыру, прорубленную сбоку трухлявого пня, напихал травы и горящей бересты. Соболю не выдержал дыма и, чудом миновав капкан и собак, выметнулся на низкорослый кедр и сразу упал оттуда, сбитый быстрым Арканиным выстрелом.

Соболю оказался тёмным, дорогим. Усы у него были опалены. «С перманентом», — пошутил Арканя. Брюшко у соболя было сытое, полное, тёплое, голубовато-шелковистое, на носу красная рубиновая капелька крови, коготки кривые, острые.

Собаки взвизгивали, заглядывая Аркане в руки, и подпрыгивали, выражая азартную злость к добытому зверю.

По ночам шли небольшие снега, местами навалило уже по шиколотку. Арканя ночевал чаще в бараке, он уже привык к нему и возвращался почти как домой. Охота шла, не сглазить, хорошо. Набралось уже за сотню белок и одиннадцать соболей. Дымка, совсем уже отощавшая, как ни старался напихивать её Арканя хлебом и тушёнкой, совсем избегавшаяся на охоте, уже задевавшая отвисшим пузом снег, поскучнела и собралась щениться.

Ночью она завозилась в своём углу за ржавой печкой, заскулила. Глаза у неё сверкнули, когда Арканя чиркнул спичку, чтобы растопить камелёк. Арканя сидел на нарах под слоем синего, медленно двигавшегося по потолку дыма, и наблюдал за собачьей жизнью. Верного, за излишнее любопытство, Арканя выгнал на мороз. На улице шёл мелкий сухой снег. Щенка происходила некрасиво, даже страшно. Арканя освещал подробности происходящего головнёй, матерками подбадривал собаку, Дымка отворачивалась, ползала, живот у неё необычно шевелился.

Всего сеанса Арканя не выдержал, заснул на середине.

Утром Дымка лежала счастливая, пластом, подгребая под себя расползавшихся из общей кучи щенят. Делать было нечего, и Арканя весь день спал-отдыхал, поставив на всякий случай пару капканов с наживкой на следах поблизости от зимовья.

Дымка благодарно лизнула хозяйскую руку, к самой её морде поднесшую тёплую тушёнки на доске, давшую воду в консервной банке. В глазах у собаки светилась невыразимая любовь и гордость за свой выводок.

Арканя обезжиривал шкурки, общипывал жирные огузки, зашивал незаметно ободравшуюся одежду. Дымка покусала Верного, неосторожно зашедшего за печку и сунувшегося к щенкам. Вечером Арканя сбегал пострелял рябчиков, наварил супу, долго пил чай и читал у камелька старый «Огонек».

Ночью прорубь уже затягивалась крепким льдом, а по всему ручью в этом месте, в затишке, на медленном течении с глубиной, лёд был толстый, и по нему можно было пройти без опаски, он только потрескивал и был прозрачен местами, как витринное стекло. Из травы в заводи мелькнули тени трёх следовавших одна за другой небольших рыбёшек. Тут был рядом омут, куда скатывалась с ближайшей части ручья на зиму рыба. Они шли, будто прикасаясь спинными плавниками к ледку витрины, и в движении казались большими, солидными рыбами. А были в ладошку. Поймать — на уху сгодились бы. Арканя провалил резиновым сапогом ледок, утопил в бурливом слабом течении обломки. Вода тихо шуршала на бегу.

Шапка тянула грамм семьсот. Щенята ползли куда-то в темноте своего неведения, они не ползли в действительности и не могли бы ползти из шапки, так как лежали кучей друг на друге, они производили такие ползущие движения, тянулись к жизни. Щенята открывали куда-то в пространство свои маленькие розовые пасти. Вода сразу унесла их под лёд. Арканя выбил шапку о колено и, криво посмеиваясь, натянул её на голову, потому что подмораживало.

Оставив Дымке пару варёных белок в бараке (в поилке ещё были сухари), Арканя, от греха, пошёл с Верным на охоту, — уж так хотелось ему отпинать Дымку за её проделки, за скулёж и беспокойство. С Верным добыли пару белок и безуспешно гоняли по россыпи соболя. Верный не успевал сообразить за сободем, зазёвывался, отходил, когда отходить не надо было. Не хватало кобелю вязкости и старательности, хоть смысл охоты он уже понимал и разделял желание хозяина поймать и задавить зверька с определённым запахом и видом.

Арканя вернулся уставший и злой от неудачи. Дымка пулей выскочила в от-

крявшуюся дверь из-под ног Аркани и стала суматошно искать своих детей вокруг барака.

— Ну, дура! Поломаешься мне ещё, поломаешься, сучий потрох! Во! Черти понесли! — ругался Арканя.

Оставленных белок Дымка не съела, не тронула и сухари в корыте, всё это быстро сожрал Верный.

Дымка подходила к Аркане, смотрела ему в глаза, спрашивала: «Где мои дети?». Арканя отпихивал её ногой, а один раз ударил рукавицей по глазам: «Пошла, дура! Нашла время щениться, охоту срываешь!»

На следующий день Арканя опять решил попустить охотой и зря с глупым кобелём ноги не ломать. Дымке надо было отдышаться, она ничего не ела, болела, у неё перегорало молоко. Арканя слушал радио и смотрел «Огонек».

Дымка вспыхивала глазами в тёмном углу, она то лежала, то ходила, скребла лапой дверь, искала детей. Арканя жарил у камелька спину, по потолку плыла горячая дымная наволочь, ходить по бараку можно было только низко нагнувшись, видно, под потолком рубить «хлебальник» Орлову было неудобно, и он прорубил его очень низко, и низко потому ходил дым. Слышно шумел вершинами ветер в тайге, сыпался в окно снег, сухой и мелкий. Верный скулил за дверью, просился в избушку. Дуло откуда-то из-под нар, из щели; когда Арканя поворачивался туда спиной, горячая кожа чувствовала сквозняк. Арканя соображал по этому поводу, что если ударит сильный мороз, то придётся топить барак круглые сутки. Дымка опять просилась наружу.

— Да идите вы, мать-перемать, куда хотите! Козлы вончие! — крикнул Арканя, вышиб дверь пяткой и ещё пинком поддал Дымку. Так она и улетела кубарем в свежий молочно-белый снег. На Верного, приниженно скользнувшего лыственной тенью к теплу и к свету, Арканя тоже прикрикнул:

— Лежи здесь, фраер горбатый, а то я тебе сделаю!

Куда делись щенки, Дымка не могла понять. Она сонно, как пьяная покачиваясь, ходила вокруг жилья, задевала снег горячими набухшими сосцами, скулила в тоске, просилась обратно в барак, где сильнее пахло детьми, скребла лапой. Арканя хоть и был страшно зол на беспокойную собаку, но терпеливо матерился и запускал Дымку в тепло, чтобы она не застудилась, горячая и слабая после щенки. Утром Дымка не волновалась. Она не смотрела на Арканю, лежала в своем углу, свернувшись калачом, как чужая.

И ещё на один день для гарантии оставил собаку в бараке Арканя. Сказал ей ласково, несмотря на её неприятный вид: «Поправляйся, Дымка, вон соболей сколько, а мы лежим. Долежимся до глубокого снега, и всё, накроется наша охота!»

«Мы лежим», «наша охота», — двучично это звучало, будто «нам» соболей надо. Дымке соболя были теперь не нужны, ей нужны были её маленькие тёплые щеночки.

В тот день Арканя с Верным хорошо ловили. Верный самостоятельно загнал соболя, держал его, хоть и отбегал за хозяином, оставляя зверька без присмотра. Оказалась хорошая соболюшка. Верный на радостях порвал ей заднюю ногу, когда она упала, давливал её. Арканя и это простил ему, бить Верного сейчас было нельзя, не полюбит сам ловить соболей. Вот пойдут снова с Дымкой, и уж как попадётся Верный на грехе, тут его Арканя отмолотит. Добыли и белок три штучки, хотя белкам Арканя внутренне не радовался, как бы чувствуя в каждой из них какую-то подмену соболя и во времени затраченном, и в снаряде — патронов оста-

валось маловато. Но уж очень хороший был снег, новый, следки на таком ночью упавшем снегу короткие, свежие, называется такой снег — пеленовка, пеленова. Новая пелена, пелена новая.

Спугнули изюбрей, и Арканя стрелял по ним картечью. Верный погнался за ними немного, но сразу вернулся на зов хозяина. Изюбрей гонять бесполезно, это специальная охота. На обратном пути распугали и перебили выводок рябчиков. Они глупо слетели с косогора в распадок, расселись и смотрели, как охотится на них человек. На выстрелы и примчался сверху Верный, начал лаять изо всей дурацкой мочи и носиться по распадку, здесь-то и выяснилась основная страсть Верного — гонять птицу. По голосу отличал кобель птиц от остальной живности, на птиц он лаял с подвизгом, радостно, по-щенячьи, а на белку и соболя лаял не особенно старательно, отдельными гав-гав, гав-гав.

Вечером ели рябчиковый суп с перловкой. Дымка тоже ела, по виду её казалось, что она всё забыла, утомилось и сошло на нет материнское горе. Она даже обрадовалась их возвращению: когда они вышли на тропу возле барака, она слышала их в резонаторе прогоревшей печки и поскуливала в ответ на басовитое гавканье Верного.

Дымка бегала вокруг своих сотоварищей, обнюхивала, улавливала запах соболя, белок, тайги, погони, страсти. Она заметно окрепла после щенки. Но что-то осталось, что-то изменилось в её характере. Это было заметно, когда она лежала в своем углу и вдруг взглядывала на Арканю, положив острую свою легкую морду на лапы. Взглянет — и отведёт глаза. Аркане не нравилось, когда она, безрадостно лежа в углу, вдруг уставится на него долгим взглядом. Он кидал в неё за это правилкой, ложкой, ичигом, и она глядела украдкой. В спину. Взглянет — и отведёт глаза.

Арканя был немного суеверный, в деда.

6

Не зря ключ был Фартовый.

Волшебное золотоискательское счастье и удача обозначились на языке пропойцы-деда именно этим словом. Не просто неожиданная удача, повезуха, а именно фарт. Необъяснимо это — фарт есть фарт, это как бы особые правила, особые законы, которые вот здесь, например, предназначались именно для Аркани, а может, и для кого-нибудь ещё неизвестного.

Даже в кое-как поставленных, на арапа, капканах лежало два соболя. Один был живой; пока Арканя дошёл к нему, Верный его уже задавил, обогнав и Дымку. Теперь часто кобель шёл впереди, он постепенно матерел, а Дымка была ещё слаба, но уже старалась по-прежнему, рыла, что называется, землю, плакала-кричала, со стоном каким-то облаивала соболя или белку. Торопливо приходилось стрелять, чтобы только поскорее отпустить, в надежде на соболя, собаку. С ней какие-то кликушеские истерики стали случаться от сильной её страсти к охоте, она даже кусты стала перекусывать вокруг, где облаивала зверька.

Уверившись в капканах, Арканя перестал есть рябчиков и драл их для приманок. Он расставил капканы по покати водораздела, с которого сбегал Фартовый ключ, а сам, — проснулась уже неразумная жадность, — пошёл дальше, в не обловленную ещё тайгу... Дальше... Там, ему казалось, соболей видимо-невидимо, кишмя кишат. Он и принёс за пять дней мученических блужданий, бессонных у

костров ночей семь штук, и ему казалось, что охота получилась счастливая, редкая, что надо хватать, седлать удачу. Если бы он подумал спокойно, то не стал бы ловить с надрывом семь соболей, а предпочёл бы без напряги, сохраняя здоровье, поймать пяток.

Его уже кружила игра, гнал азарт.

Планы разрастались, он уже глядел за белки, на Предел. Ему снились ускользающие соболя, собаки, гон, ловля. В оставленных капканах он с чувством некоторого разочарования, — уж разыгралось воображение, притупилось чувство реальности, — обнаружил только трёх соболей, и у двух мех был пострижен мышами, бравшими мех для тепла в гнёзда.

Арканя собрал капканы и свалил в бараке. В одном была кедровка, он присокупил её к не съеденной мышами приманке и сварил для собак суп. Некогда с капканами, пока снегу мало, надо ходом с собаками, раз позволяют условия.

Обувь у Аркани развалилась, весь он оборвался, провонял потом и оброс щетиной. Борода, он заметил, была не такая, как прошлую зиму, теперь она оказалась сильно седая. Серединой, от нижней губы к кадыку, шла целая полоса седины. Глаза от недосыпа, дыма и от того, что в лесу Арканя не умывался, — здесь всё чисто, — стали красными. Ногти были обломаны. Пороху и дроби осталось мало. Добыть мяса, как он планировал раньше, ему не удалось, да он и не сильно стремился, чтобы не терять на это времени. Теперь он сам обгрызал беличьи задки и время от времени не гнушался стрельнуть кедровку и зажарить её на вертеле прямо в перьях; грудку он разгрызал сам, а остатки, обколотив угли о пенёк, отдавал собакам. Верный жрал всё, в том числе обгорелых кедровок. Беря планы вперёд, Арканя принимал теперь во внимание как продукты и те несколько десятков беличьих тушек, которые он наморозил в хорошие времена и оставил на полке под крышей. Две с небольшим недели оставалось до вертолёта — пятнадцать дней, если брать на сытое брюхо, а на голодный желудок — полмесяца. Срок большой, загнуться можно. «В случае чего, — говорил он при таких мыслях Верному, истрепывая его по заливке, — на рагу тебя пустим. Для качества!» Верный юмора в этих словах не улавливал, отворачивался.

Соболя бежали в Фартовый ключ со всех сторон. В один счастливый день Арканя добыл трёх. Правда, выпадали и снежные дни, когда Арканя если и выходил из жадности на охоту, то и следка не находил.

В такую плохую погоду случилась неприятность с Дымкой. Она загнала на коротке под корень соболя и долго рылась одна, только изредка выскакивала на поверхность, взлаивала. Она лаяла, конечно, и в корнях, в откопанной норе, но голос из-под земли не доходил. В это время проклятый кобель гонял глухаря и делал много шума, отвлекая внимание Аркани, пока они вдвоём не обманули глухаря и он не упал к ним, сламывая ветки, чёрным стогом с лесины. Найдя Дымку, Арканя едва оторвал её от соболя. Полузадохшаяся сучонка рвалась из рук, кусалась, чтобы только дали ей рыться, рваться к злобно уркавшему собольку. Арканя вынужден был привязать её на ремень, а сам поставил капканчик, постучал топором, и соболёк выскочил — лязгнуло, как живое, прыгнуло железо. Дымка чуть с ума не сошла, так раздражил её соболь, едва отошла, очухалась.

Верный смотрел на Дымку с недоумением, он тоже понимал теперь: охота — страсть, азарт, игра, но не до такой же степени, ведь соболя, ненавистного зверя, тяжёлую эту добычу, забирает в конечном счёте рукастый Арканя и кладёт в мешок. Они же, собаки, даже есть-то не могут соболятину, разве от большой нужды.

Верный был рассудительный, хладнокровный пёс, мир понимал объективно и свои интересы в нём старался соблюдать. Для видимости — при подходе, например, хозяина — мог и подпрыгнуть, в ярости якобы, со вспышкой будто бы ослепляющего азарта, на дерево, скребя кору когтями, даже мог кунуть направо-налево кусты и ветки, ногами пошаркать, раскидывая снег, грязную траву и мох под ним. «Хитрым станет к старости, воровать будет», — думал про него Арканя.

Как-то бык и корова с телком мелькнули — оставили три слившихся в одну тропу следа. Телка можно было ещё достать картечью, но картечи не осталось, разошлась по глухарям — любимой птице балбеса Верного, втравливавшего в это глупое дело хозяина, потому что Арканя влёт не попадал. Верный и Дымка прибежали на сохатиный след, но сделать они, конечно, ничего не могли. Верный, поди, и не сообразил, что это охота — лоси. Он их за пеструх каких-нибудь принимал, наверное.

Собаки уже составили пару, артель, они вместе дружно тянули в россыпи, например, потому что там соболей легко было находить, и соболь долго сидел в камнях, откуда выкурить его для Аркани не было никакой возможности, и горячил охотничье чувство у собак своей близостью. От этого часто весь день пропадал — вязкая сучонка раз за разом возвращалась к какой-нибудь пропахшей соболем безнадёжной каменной щели даже после того, как Арканя пинками отгонял её и утаскивал, упирающуюся, на ремне. Верный в таких случаях не особенно страдал, стоило крикнуть ему — и он уходил от запаха. Он не перемогался, не надсаживался, а приносил соразмерную корму пользу человеку. Дымка же работала самоотверженно, с восторгом жертвенности, гнала — как летела. Со стоном, с последним хрипом закапывалась в норичу, задыхалась там, исходя предсмертной слюной...

7

Арканя ценил радость форта, именно потому тянуло его перевалить водораздельный хребёт Предел и проверить на удачу таинственную, неизвестную страну за ним. Если бы его не сдерживал недостаток припасов, он бы уже давно не выдержал, — ему представлялось, что там охота ещё более удачливая, чем здесь. И сказался характер деда: взяв последние продукты, оставив в запас мороженных белок и мешочек перловки, подвешенный на гвоздь на балке от мышей, взяв глухариную голову, шею, лапы, пошёл Арканя «просто посмотреть», дня на два хотя бы — туда-обратно — в запредельную тайгу.

Вышел он очень рано, день выдался отличный, и часам к трём Арканя уже был на линии голых вершин, нашёл перевал, и при полном солнце перед ним раскрылась с перевала неизвестная эта тайга, состоявшая из таких же лесов, падей, ключей и рек. Это была широкая, полого и очень далеко спускавшаяся покать, прорезанная послеполуденными тенями, ключами-падаями; кедровый лес был голубовато-зелёным, тёмным в своих глубинах от сильного солнца.

На высоте чувствовался ветер больших пространств, летящий над континентами. Арканя посидел на камешке. Сориентировался на возвращение: сосчитал распадки, отметил все вершины и, в необъяснимой уверенности, граничившей с наглостью, стал спускаться вниз, за собаками, которые уже оставили следы на нетронутой пелене этой новой тайги. Здесь, наверху, были только цепочки глухариных следов — глухари любят такие места и берут на них камешки.

С верхинки корявой сохлой лесины на границе леса с отчаянным и пугающим криком самоубийцы сорвался, упал вниз, плавно взмыл, спланировал на другое дерево жесткопёрый, с разбитой будто бы, красной головой дятел. «Только бы не навалил снег, — ворожил Арканя. — Только бы не снег. Не ровён час...»

Тайга заманчиво шумела легкими ветрами, обдувавшими снежную пыль с жёлто-зелёных, синих и чёрных её лап. В темноте могучих кедровых крон соболя играли друг с другом, сияя мехом дивной красоты. На пригретых щедрым солнцем лёжках спали звери...

С деда началась охота. Дед и назвал Арканю Арканей, в память об удачливом своём напарнике, который обогатился в молодые годы, создал дело, а потом, когда счастье отступило от него, загулял широко, запил и погубил, пустил всё прахом. Судьба друга всю жизнь волновала деда, и он в тайне своей тёмной души мечтал и внуку своему судьбы смелой, наглой, развивающейся по особым волшебным законам фарта.

Дед на памяти Аркани был горбатый, ревматичный алкоголик. Бабка под его кулаками и пьяными проклятиями напрягала золотишка маленькими частями, и это только спасало их в тяжелые времена от голода. В войну бабка ползала на пункт, сдавала золото на боны. Носила в чекушках, в пузырьках аптечных, в спичечных коробках, на доньшке. Дед ждал её у окна, матерился и колотил, если не приносила спирта.

Голодовка, как сказал врач, спасла деда от неминуемой смерти. И действительно, после военных лет дед как-то приободрился, стал ходить недалеко от прииска, строил планы обогащения за счёт охоты на зверя. Случалось, что, терпеливо высидев, он подстреливал косулю. Бродил и терпеливо сидел с дедом и Арканя, таскавший оружие и харч. Стрелять дед ему не доверял. Стрелял Арканя первый раз по раненой косуле, она висела на кусте недалеко от стога сена и всё равно никуда бы не ушла, её прирезать можно было, у неё был отбит зад. Арканя сбежал вниз, стрельнул и потащил косулю волоком. Деду видно было, что внук хочет стрелять. «Стрельни уж!» Руки у Аркани дрожали, он прицеливался в голову, повёрнутую к нему. В сарае и в огороде он стрелял по пугалу, но тут забыл прижать. Щека распухла. Это дед заметил, что распухла щека, сам Арканя не чувял ног от радости.

В посёлке потом говорили, что он охотник. Мясо дед продавал и пропивал. Он даже был в своеобразной кабале у завскладом Пухачёва.

Пухачёв наливал в баклажку спирт из цистерны, и Арканя восхищался таким количеством драгоценного продукта и видел в Пухачёве некое спиртовое божество. Пухачёв делал отметочку карандашом в тетрадном листке. Дед знал, что это идет в долг, вперёд, за мясо. Но на спирт дед перевел бы всё на свете, разве только кроме внука Аркани. Любил он незаконного сына своей заблудшей, потерявшейся в неизвестности несчастливой дочери.

Дед был сильно тронутым. Идёт по грибы, по ягоды, на охоту, а как увидит плёсики по ручью, побредёт, ноги намочит, так и лезет в воду. Арканя в таких случаях должен был «отпугивать счастье» и говорить бабкиным голосом, оттягивая деда за рукав: «Деда-а, брось, а? Деда-а! Нет тебе щастя-я на золото-о! Не ходи в воду!»

Бабка его научила говорить так, потому что помяни про золото — оно пропадёт. Сердился дед. Один раз Арканя повторил заклинания бабки, дед сел на камешек здесь же, ноги в воде, и заплакал. Очень его дразнило, когда отпугивали счастье. Бабка золото ненавидела, проклинала. В молодости дед после большой

удачи уехал в Россию с красивой мешанкой из приисковых и бросил бабку с дочерью, и пропал так до двадцатого года. Вернулся весь больной, постаревший, алкоголик конченный. Он каялся и просил прощения на коленях, а бабка тоже встала на колени перед ним, как она любила вспоминать впоследствии, и простила ему всё, сводила к ссыльному священнику отцу Егорию, и тот побеседовал с дедом. Не помогли ни зарюки, ни клятвы. Временами он опять приносил золото, хвастался, трезвонил. А это уже значит — не в себе человек, если кричит на мир. Золотом добрые люди не хвастаются, а таят его, как болезнь и возможную смерть. Пил, гулял. Бабка же отщипывала золотишко щепоточками и прятала, прятала бедная старуха с молитовкой, в бутылочках, во флакончиках, в тряпочках, в кисетах, по крупиночке на больную, голодную старость, в огороде прятала, на покосе, в палисаднике, в лугах, под камни прятала в тайге, на старой — бывшей её отца когда-то — заимке, даже в печку замуровывала при побелке.

Арканя золота боялся из-за бабкиных рассказов и из-за материного, через всё тех же приискателей, несчастья и своего сиротства. С гулящими людьми мать Арканина затерялась. Но слушать дедово враньё про заветные слова, про исчезающие жилы, про кости и черепа, про давние времена и про сегодняшнее производство Арканя любил. Дальше охоты он не пошёл, но фарт и азарт воспринял от деда, наверное, с кровью.

Вечер наступил очень быстро, так что первый день собаки ничего найти не успели. День пропал невыгодно, в Фартовом же без соболька такой хороший ходовой день не обошёлся бы.

Для ночёвки Арканя нашёл большой корень-выворотень и запалил его. Пока он устраивался, корень разошёлся так, что на соседних пихточках снег сбежал с лапок, стеной стоял огонь, смолевой корень дышал жаром столь сильным, что, закрыв глаза и качаясь на корточках против жара, Арканя вспомнил берег реки и солнечное тепло, и знойный день, жар песка, жену свою горячую, сильную, разметавшуюся, лень вспомнил, истому. Вспомнил Кольку, бегущего по воде.

У него было с килограмм сахара, несколько сухарей — чёрных, с забытыми мучной пылью ноздрями, мешочек перловки и сколько-то шоколадных конфет. Конфеты в мешок напихал Колька, своих не пожалел, бесёнок. Конфеты эти до сих пор Арканя не ел, суеверно таскал с собой, они измялись, исплющились, и от этого таившаяся в них сладость была особенно заманчивой.

Собакам он отдал тощую кедровку, обуглив её на костре, сам попил чаю с сахаром, съел сухарь. Спал он всё равно плохо, перед рассветом сила сна и слабость тела не могли пересилить холода, он уже не спал, ворочался, задрёмывал, подкладывал в огонь сушины, развесил сохнуть портянки и ичиги. Ичиги сильно промокали, когда таял на них снег перед огнём, они обтёрлись, смазка истратилась, побелели швы. Собаки замечали перемену и усталость в хозяине, поднимали голову, из клубков превращались в длинные тени, снова ложились.

К утру мороз прижал чугунно, Аркане хотелось с головой залезть в костер, в жар его, сладостный, как парная баня. До самого рассвета Арканя варил в котелке глухаринные остатки с перловкой, чтобы как можно сильнее разварить калорийную «шрапнель». Подкладывал в котёл снегу, когда вода выкипала, засыпал сидя на корточках с протянутыми к огню руками. Суп Арканя разделил с собаками — уж сильно он обжуливал их последнее время, запивал получившуюся кашу кипятком, обжигая губы и рот. На боль Арканя слабо реагировал. Ему хотелось, чтобы прилетел скорее вертолётчик и увёз домой, где Нюра сварит из забитого её роди-

телями на праздники подсвинка натуральный борщ. Ещё ему хотелось пирожков с потрохами и печёнкой. «Если плохо пойдёт — сегодня же вернусь, — решил Арканя, — напрасно сменял Фартовый на эту тайгу»...

Но из игры своей волей не выходят. В кедровнике внизу Дымка загнала соболя, и тут же залаял, забухал в другом месте Верный. «Дымка всё равно не отпустит, — быстро прикинул Арканя, — а Верный ненадёжная собака, ему и подвалит счастье, так отвернётся», — и побежал по уже глубокому снегу наверх, к Верному.

Верный долго мотал Арканю, не мог найти соболя в четырёх росших на поляне отдельно огромных кедрах, таких высоких, что дробью до вершин достать было бы трудно. Кроны нависали как черно-зелёные облака, и маленький зверёк терялся в гуще веток и хвои. С болью слышал Арканя доносившийся снизу слабый лай Дымки, лай временами терялся, и Арканя жалел, что связался с балбесом Верным. Верный метался между кедрами, лаял то на один, то на другой. Арканя выгребал из-под снега камни и кидал вверх, стучал по стволам тяжёлым суком. Наконец, соболёк, в которого Арканя уже перестал верить, мелькнул в вершине. Арканя ещё раз пугнул его, и зверёк опять пробежал и затаился, высунув только мордочку. Арканя выстрелил и ранил соболя. Соболю зацепился в сучьях и дёргался там, раненый, потом затих и запал окончательно. Хвост у него из развилки свесился. Сбить его дробью теперь невозможно, нужно или лезть за ним, или рубить кедр в четыре объёма. Внизу лаяла Дымка. Арканя бросил соболя и Верного, недоуменно лаявшего вверх, и побежал.

Дымкиного соболя Арканя взял сразу.

От возбуждения и усталости не хотелось есть, появилась какая-то настырная злость, удача-неудача, светлый соболю, тёмный соболю, головокружающее движение, подобное карусели или калейдоскопу, в котором встречались под ногами собственные следы, крики насмехающихся кедровок, собачий лай, костры, валежины, рвущие одежду ветви, дым в глаза — всё смешалось, сдвинулось и пошло мелькать перед глазами, кружась, заманивая, увлекая и, что самое страшное, подчиняя сознание Аркани.

Соболя сделались похожи один на другого, и он их будто бы не столько ловил, сколько хватал, как однажды хватал его дед кошельки во сне. Кошельки с деньгами висели на ветках в лесу, по которому дед бродил всю ночь, а проснулся пьяный и обобраный, в Петрограде. Дед рассказывал Аркане, и мальчик это запомнил и воображал в детстве такой лес, увешанный кошельками. Ещё воображалась ему удача в виде чекушки с золотом на три пальца, тяжёлым и маслянистым, как дробь. Чекушку эту он видел, проснувшись от драки, которую устроили дед и бабка. Чекушка стояла на столе у керосиновой лампы, холстинка была расстелена: видно, золото пересыпали. Утром все лицо у бабушки было синим, она лежала под полотенцем, охала...

Если не считать пропавшего на дереве, добыл Арканя трёх соболей. «Жадность фраера губит», — помыслил Арканя и не полез за сободем на тихо и угрожающе качавший высокой вершиной кедр: голая колонна ствола без длинной веревки была непреодолимой. Хвост виднелся. Перекурив, Арканя взял себя в руки и повернул назад, на хребёт, чтобы перевалить в спокойствие, к обжитому бараку. Но собаки не дали ему вернуться, опять залаяли, и опять далеко внизу. Четвёртый соболёк укусил его за палец, пока Арканя сворачивал ему головку, поймав на лету раненого.

Ночь застала его на середине подъёма, и он заночевал, отаборившись кое-как на скорую руку. Он механически ободрал соболей, насадил тушки на прутья —

жарить, шкурки комком сунул в мешок. Для себя Арканя мимоходом добыл рябчика, но драть его не решился, боясь чутьём за завтрашний день. Вообще, кроме кружения удачи и полёта, Арканя чувствовал какую-то непонятную угрозу, он, например, не захотел бы поймать теперь пятого соболя.

Он вдруг с тревогой заметил, что собак с ним нету. Он перестал шуметь снегом и сучьями и уловил далеко внизу зовущий, как бы заманивающий его в коварную темноту ночи Дымкин голос. Ему показалось также, что кто-то опасный подделывается теперь под Дымкин голос. «Не пойду», — ответил вслух Арканя и расслабился перед пылавшим костром. Он отломил у одной тушки задок и с отвращением стал жевать, запивая сладким чаем. Ноги немели, мокрые, зябла влажная спина. Телогрейка задубела. Ещё донесся безнадежный призыв Дымки. Арканя задрал телогрейку и подставил огню голую спину. Спина накалилась, и стало сонно, безразлично: «Пропади ты пропадом, Дымка, лай ты там, хоть разорвись!» Арканя не мог в уме сосчитать, сколько же у него теперь пойманных соболей, и это его немного обрадовало, как хорошая примета для суеверного человека. К голосу Дымки подключился Верный. Арканя заставил себя жевать ещё один соболинный задок — обгорелое, с углями, противно отдававшее псиной мясо.

«Этот прибежит», — подумал Арканя. И вскоре из темноты вывернулся Верный. Он поскуливал, отбегал в темноту, звал за собой, возвращался. Это злило Арканю, будто Верный понимал предательство. Он подманил Верного и кинул ему обжаренную тушку. Верный не устоял, захрустел, замолот челюстями. «Пусть она лает, пусть лает, дура!» Арканя задремал в сообществе с Верным, а проснулся — Верного рядом опять не было. Хотя дремал Арканя недолго.

Дымку было не слышно, или вой вплетался в ровный шум леса. Потрескивали, лопаясь в огне, суставчатые угли. Он опять заснул, а заснув, пошел в темноте к Дымке, через сплетение кустарниковых ветвей и еловых и кедровых лап, через глухой непролазный пихтач, ноги легко несли его вниз, и там он упал на пихтовые мягкие лапы, пружинисто повис и заснул на солнечном припёке, обессиленный сенокосом, и сквозь сон лениво отмахнулся от паутов, липших к нему, потному... Жена ходила по кухне и стучала чугунами, Арканя ещё велел ей, перед тем как ложиться спать, накормить собак его, Капсика и Найду, но увидел, что Колька еще совсем маленький и лежит в зыбке. Это испугало Арканю, он сообразил, что чугуны и Капсик с Найдой были у них ещё в старом доме, до переезда. Он проснулся в цехе, на стуле в курилке; в цехе была авария: из-за неплотно пригнанной и разошедшейся заслонки необычной конструкции шёл видимый газ, глаза щипало, заваливало дыхание, кто-то со сваркой подошёл к нему сзади, Арканя схватился за раскалённый прут и закричал: «Назад! Мать-перемать!» Прут светился в руке, верхонка пошла пламенем.

Вскочил Арканя от страшной боли, махая руками, он сбросил рукавицу и стал хватать правой рукой снег. Рукавица тлела, сохраняя вокруг огненной каймы форму полусогнутой горсти. Было тихо, как под одеялом, но Арканя этого не заметил, его била дрожь от боли и холода, он забыл про собак, про то, что где-то лаяла перед сном Дымка. Корень горел вглубь, в ствол, и оттуда, как из жерла, выходил толстый, жаркий, сухой заслон. Уголь, видимо, отскочил от торчащего вверх и горевшего щупальца. Потом Арканя вспомнил, что нету собак, и выстрелил два раза, с продолжительным интервалом, в воздух и снова лёг, свернувшись в клубок, спиной к огню, зализывая, как учил его дед, ожог, прикладывая к нему снег, и незаметно снова заснул.

Снег выпал за остаток ночи и к утру покрыл землю рыхлой добавочной тридцатисантиметровой толщей. Шёл снег и утром, густой, как простокваша. Толща снега росла, на глазах замуровывая тайгу. Влажная одежда сковала простуженное тело, мозжили колени, спина, крестец. Из снега в ногах встал Верный. Дымки не было. Арканя вспомнил, что он стрелял ночью, вспомнил, как он перестилал влажное своё логово, как сушился и переобувался, как уползал в сугроб и как кормил Верного. Верный к чему-то прислушивался, встряхнулся, и снежная попона свалилась, а через минуту снова выросла на рыжей худой спине с выдавшимися лопатками.

Снег валил густо, толсто, едва слышно шелестел. «Дымка!» — крикнул Арканя, и безголосость горла его испугала. Простыл. Верный взлаял с подвывом. Снег как подушка придавил звуки.

Они позавтракали, откопав, нашарив под снегом полубожежённые тушки соболей и ободрав рябчика. С первыми же шагами, когда они пошли вверх в молочной стене снегопада, Арканя заметил в ногах какую-то слабость, было что-то не так, как вчера, было что-то мешавшее широте и лёгкости шага, было похоже на необычную болезнь. Арканя сначала не понял и посмотрел себе под ноги: было такое ощущение, будто он наступает себе на размотанные портянки. Но это был снег, в котором нога утопала выше колена. Снег валил и валил! Из страха выколупнулась мысль: «Скорее, пока не завалило по горло, с головой! В барак, через хребёт!»

Верный испуганно заглядывал в глаза, терялся, отплывал по снегу в сторону, забивался под ветки. «Чего смотришь? Пропадём мы с тобой, с оглоедом!» — кричал на пса Арканя. Верный отпускал Арканю вперёд и трусливо нырял за ним по ямистому следу.

Ориентир был один — идти прямо вверх, другого не было. Идти вообще не надо было, Арканя поддался панике, надо было сидеть под ёлкой у костра, терпеливо ждать, балаганчик соорудить, запалить корень, экономить силы. Но вгорячах Арканя далеко уже отгрёбся от ночевки. В тайге было пусто, мёртво, не было ни соболей в этой тайге, ни белок, ни сохатых, не было вчера ни азарта, ни росомахиного следа, ни Дымкиного тоскливого предсмертного голоса, никакие вороны вчера не летали в небе. Каша там в небе, там рыбы большие могут плавать, в такой гущине.

Арканя бы так и шёл, не остановился, пока не упал бы, если б не набежал на свой свежий, но уже мягко заваленный снегом след. На следу стоял Верный и, извиняясь, вертел хвостом. Арканя вспотел от страха. Он испинал, свалил собаку в снежную яму. А пинать, подумал он, остынув, не надо было, дело такое... Может, подманивать ещё придётся, чтобы патрон не тратить. Такого блуждания у Аркани ещё не бывало. «Кружит», — подумал Арканя про кого-то.

Ночёвка была в двух шагах. Выворотень горел ровно. Арканя перетряс лежку и, нарубив елок, соорудил плотный балаганчик, настелил пихтового лапнику.

Голодная политика проста: пить чай и спать в тепле, пить чай в тепле и в тепле спать. В полудрёме он провёл весь день, балаган нагрелся и протекал подтаивавшим на нём снегом. Мысли плыли, сменяя друг друга, забывались, стирались. Начинили звучать забытые голоса, он с ними переругивался, сердясь на возражения. Снегопад может продолжаться день, два, три. Можно сожрать Верного и всё равно пропасть в глубоких снегах, замёрзнуть. Только соболей найдут в зимовье, если лётчик заявит. Мыши соболей не достанут. Ссохнутся, заплесневеют соболя к лету. Лётчика с работы выгонят...

Мысль осенила Арканю в полудрёме. Он успокоился. Перед глазами у него встала до тонкостей запомнившаяся картина: освещённая трёхчасовым солнцем покать — кедры, гольцы, морщины распадков — пять почти параллельных долин, и он сейчас находится в третьей от верха. Распадки углублялись и подчёркивались глубокими от сильного солнца тенями. Идти надо через низ, спустившись туда, подниматься вверх по дну, по ручью. Долина обращена к небу, как большая ладонь с пятью пальцами, и между указательным и безымянным лежит подъём на перевал. Не выпасть из этой ладони, не свалиться в край. Идти ручьём, буровить прямо по снегу, лес по сторонам не даст сбиться с пути хоть днём, хоть ночью. Этот ручей поднимается ближе всех к перевалу. Дотянуть до россыпей, там ветер, найти спуск к Фартовому... На той стороне он уже всё знает.

Дымка залезла под корень, звала. Задохлась... Не пошёл... Вот за что на тебя все навалилось! «Верного сожрёшь — совсем пропадёшь!» — сказал Аркане на ухо простуженный голос.

Идти надо было скорее. Арканя встал и пошёл прямо вниз. Ручей оказался совсем рядом, снег на нём лежал ровный, как постель. Идти было можно, только тянуло лечь. Верный плыл рядом. Иногда Арканя сбивался с пути, но ветви деревьев толкали его обратно в ручей, ноги упирались в обрывистые берега под снегом, во вмёрзшие в лёд коряги, окостеневшие водопады Арканя перелезал на четвереньках, ручей петлял, измеряя Арканины силы, но тем не менее прощая ему бездумную азартную вину, вёл вверх. Стало светать. Арканя часто присаживался. Верный тоже сразу ложился.

На безлесье россыпи снег летел косо, здесь уже был ветер высоты, ровная завеса снегов прерывалась время от времени, открывая впереди ориентиры: пятно стланика — к нему Арканя дошёл; большой бык-камень, останец, — и к нему Арканя дошел, а потом в разрыве увидел весь гребень Предела и седловинку, через которую он нагло входил в эту негостеприимную волшебную страну. Над седловинкой сторожем стоял белый, закутанный до плеч в одеяло снежных синих облаков пик гольца. Но пик этот был всё-таки далеко, и рядом только казался. Арканя обернулся и увидел, как внизу, в покинутой им долине, будто пена в стиральной машине, клубятся серые и синие на слабом рассвете облака. Облака стекались и возились в долине, как стадо больших зверей.

Верный посмотрел на Арканю, напоминая, что в этой стране осталась Дымка. Верный всё понимал. На миг Аркане показалось даже, что Верный — не собака...

Фартовый ключ дался под ноги сразу, его вершину Арканя знал отлично. Снегу здесь было меньше, ветра больше, и небо светлее. В барак Арканя ввалился чуть живой, натаскал на очаг бревён, сунул между ними всю растопку, оказавшуюся под рукой, чиркнул спичку. Он не забыл снять с балки соболей и перловку, спасая их от дыма. Просыпался он уже не в обросшем инеем бараке, а в жаре, скидывал одежду, сдвигал обгоревшие брёвна, подкидывал новые, снова возгорался и нагревал жильё огонь, и снова ссыхался и уменьшался барак от накапливавшейся в нём жары, и опять остывал, растягивался и увеличивался в прозрачном бездымном холоде.

Проснувшись окончательно, Арканя съел перловку и кинул Верному двух мороженых — варить не было сил — белок.

В тайгу прокралось солнце, лучи его пробежали между кедрами, и всё зашумело, заиграло блеском свежего снега, льда, легкой висячей пыли. Сойка с лазоревым пером села против зимовья, Арканя убил её и изжарил, выел грудку, остальное отдал Верному.

Между Арканей и Верным все отношения начались сначала, от того как бы момента давнего, когда первый человек накормил первую собаку и за это купил всю её со всеми поколениями.

8

Арканя ничего не делал, спал, доедал перловку, пил чай с сахаром и курил махорку. За два дня он набрался сил, и всё проявилось в голове. Он подранил кедровку и привязал проволокой к сушине; чтобы она кричала, пошевеливал её палкой. На крик товарки слетались глупые подруги, над бараком стоял стрекот и чекот. Стараясь зацепить одним выстрелом двух птиц, Арканя случайно зацепил и манную кедровку, и охота прекратилась, дав кучу перьев и кучку мяса.

Верный стал уходить куда-то от жилья. Однажды он залаял близко, на другой стороне ручья. Арканя сходил и убил соболя, сидевшего на низенькой берёзке. Верный, пока пришёл хозяин, вырыл большую чёрную яму под берёзой. Эта яма удивила Арканю: очень было заметно изменение повадки у Верного.

Арканя разбирает пушнину, подчищал её, чесал соболей, разрезал и зашил, вырезав остриженные мышами куски, капканых соболей, зашил соболя, порванного Верным.

От хорошей жизни Арканя окреп и сделал наброд к гари, чтобы в вертолётный день пройти это расстояние без задержки.

Семь хороших соболей Арканя отложил для того, чтобы сдать их с белкой в промхоз по договору. Тридцать соболей он оставил для Дяди — так звали серебристоголового старика, который жил в центре соболиного края, занимаясь крупными скупками пушнины. Белок Арканя увязал бунтами по двадцать штук.

Чай был последний, с мусором. Много было только махорки: с голоду Арканя меньше курил, не тянуло.

В вертолётный день Арканя проснулся ещё раньше обычного, обмусолил соболиную ножку, сказал, поворотившись на очаг: «Спасибо этому дому», и на рассвете они с Верным уже были на гари. Тут же на краю гари Верный указал в вершине кедра соболя. Сначала Верный выгнал этого соболя из валежника, а когда на шум и драку подбежал, задыхаясь под грузом, Арканя, соболю уже был на кедре. Верный действительно изменился, может быть, оттого, что ему теперь не на кого было сваливать всю тяжесть собачьей работы, может, от голода, может, от пережитых страхов. Прорезалась в нём Дымкина старательность и самоотверженность.

Видя открывшийся в кобеле талант, Арканя с благодарностью думал, что Верного не продаст, как намеревался, а возьмёт в город. С Нюрой можно будет договориться, а Кольке будет хороший товарищ. Арканя три раза выстрелил, прежде чем достал соболя дробью на такой высоте, обдирать добычу сел уже у балаганчика, разжёл давно заготовленный костер. Верный сел тут же, ожидая подачку. Собака и хозяин были довольны друг другом, тяжёлый срок подходил к концу. Обуглив на рожне тушку, Арканя отломил себе задок и отдал Верному всё остальное. Они хрустели костями. Подлетевшая ещё на собачий лай кедровка долго сокращала дистанцию наблюдения, и, перейдя границу дозволенного познания, тоже попала в костёр. Обугленный, дымящийся кусочек мяса, начиненный пластинчатыми костями, съели быстро, и оказалось ещё много времени. Арканя решил обойти гарь таким образом, чтобы всё время держать на виду балаган, чтобы успеть и не задерживать лётчика. «Левый» вертолёт не может ждать. Проснулся поостывший

было азарт, потерявшие было в его глазах цену соболя опять стали казаться ему новенькими сторублёвками.

Верный ходил старательно, местами плавал в глубоком снегу, а когда они незаметно для себя поднялись вверх, далеко убежал по обдутым россыпям и дал отчаянный, новый, сильно похожий на Дымкин голос. Отчаянный и старательный. Как ни торопился Арканя, но чувствовал, что силы его подорваны, что он теперь очень слаб и что надо было оставить мешок у костра: только сумасшедшему может показаться, что лётчик схватит пушнину и улетит, бросив его помирать в тайге. В ушах стучало, пришлось идти шагом. Потом он не смог идти прямо вверх и стал подниматься зигзагами, ударился коленом о камень и сел. Верный лаял на виду, вскакивал, припадал, разбрасывал снег и щебёнку, совал морду в камни.

Россыпь, камни, навряд добудется соболя. Азарт сплошной. Щёлка, где сидел и слышно поуркивал соболя, казалась небольшой, но чтобы поднять камни, чтобы разворотить укрытие, потребовалось бы граммов двести аммонала. Арканя торопился, мешок он бросил на пути, и под рукой ничего не было. Он расстегнулся, стянул и, пластая ножом, клочьями сорвал с себя, не снимая рубахи, майку. Майка была черная от копоти и жирная от пота. Он проверил спичкой тягу, потянуло в камни, но неуверенно, слабо. Майка, забитая в щель, вонюче задымилась, но дым выходил рядом и, видимо, на соболя не действовал.

Затарахтел внизу вертолёт, косо перерезал долину, плывя по воздуху, завис на минуту над балаганом, покачиваясь и вздымая снежное облако, сел. Арканя помахал лётчику и побежал вниз к мешку, отзывая Верного. Сначала у Аркани мелькнуло — договориться с лётчиком, притащить бересты, выкурить соболя, но мысль эта заметалась между мешком, черневшим на склоне, лётчиком, стоявшим у вертолёта, и завывавшим на россыпи Верным, ожидавшим близкой победы.

Мешок лежал в снегу как пьяница, был легким сравнительно с объемом, но и сладостно тяжёлым. Вертолётчик в собачьих унтах, расстёгнутый, похаживал и присаживался возле костерка. Верный посылал азартный зов.

9

Лётчик видел, как человек мелькает между деревьями, сплывает с лавой снега вниз, падает, торопится, переваливается через валежины; через гарь человек почти полз, будто придавленный огромным своим мешком.

— Два часа у меня времени на всё про всё. Если через час не буду на аэродроме, я пропал, понял? — сказал летчик, когда Арканя, хватая его за брезентовую куртку, униженно шептал, вскрикивая время от времени вверх, в россыпь: «Верный! Верный!».

— Собачка у меня там, собачка! — шептал Арканя.

Лётчик не узнавал кудрявого хвата, щедро кидавшего четвертные, в этом худом, изголодавшемся, клочками обросшем сумасшедшем.

Арканя вынул из-под плексы портмоне две четвертные и взял сверху из мешка приготовленную пару соболей.

— Полста добавлю, друг! Полста. Сбегаю за собачкой?

Арканя выстрелил вверх, но Верный не понял и ответил лаем.

— И за сто не могу, ты пойми! — летчик положил мешок с пушниной в машину, а пару своих соболей не глядя небрежно сунул в карман.

— Котелок берёшь?

— Не надо котелок! Сто — последняя цена. Верх!

Летчик пнул котелок, круглое дно черно и отрицательно глянуло из снега.

— Слово — золото! — сказал летчик. — Садись!

Арканя выстрелил последним патроном и прислушался. Верный работал...

Летчик, докуривая папиросу, глянул сбоку:

— Месячный заработок — сходим за собакой! Риск — благородное дело.

Гудящий в вершинах ветер больших пространств донёс в последнее перед рёвом мотора мгновение истошный голос Верного. Арканя услышал. Верный звал.

— Что ты, друг, — опомнился Арканя, почувствовав подвох, — у тебя же две чистыми идёт, однако?

Оглушительный рёв мотора потопил все звуки и чувства — один грохот, и больше ничего, и снежная пыль.

— Три у меня идёт! Три! — лётчик на мгновение оторвал руку от штурвала и показал три пальца. — Три!

Арканя помахал головой. Понял. Вспомнил, как небрежно и легко обошёлся с лётчиком, когда они познакомились, и толкал его деньгами на левый рейс.

...Внизу, глубоко, уже где-то на дне, как будто в стакане воды, болталась тайга. Взгляд скользил по косой плоскости. Арканя закрыл глаза и уже больше не слышал голоса собаки. Всё-таки больше сотни она не стоила. Кто бы мог подумать, что в этом Верном такая хорошая собака откроется. Платить такие деньги за будущую охоту? Он, может, на будущий год в Гагры поедет вместо тайги. Он и без охоты проживёт.

А хорошие собаки были! Надо же...

1971 г.